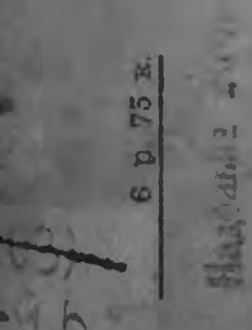
Ф. Лассаль.

ЧЕВНИК.

Перевод с немецкого.





ПЕТРОГРАД.
Издание Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов
1919.

Ф. Лассаль.



ДНЕВНИК.

Перевод с немецкого.



ПЕТРОГРАД.
Издание Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов.
1919.

Третья Государственная типография.

Часть I.

Третья Государственная типография.

ПРЕДИСЛОВИЕ

к I-ой части

(к немецкому изданию)

Издаваемые нами записки во многих отношениях представляют интерес для очень обширного круга читателей. Это—дневник необыкновенно даровитого молодого человека, написанный им при переходе из отроческого возраста в юношеский.

Главное достоинство этих записок заключается в их полной искренности. Этот полумальчик-полуюноша—Фердинанд Лассаль, или просто—Лассаль, как сам он тогда подписывался (на французский лад он стал подписываться только после своего пребывания, в 1846 году, в Париже). Дневник начинается первым января 1840 г. и кончается весною 1841 г. Фердинанд Лассаль родился 11 апреля 1825 года. Таким образом, он писал первую страницу, когда ему еще не было 15 лет, а последнюю—когда ему едва исполнилось 16 лет. А это—самый важный период в его развитии.

Лассаль был учеником второго класса бреславльской Магдалинской гимназии. Масса всевозможных неприятностей сделала невыносимым для него пребывание в доме родителей, в родном городе, и он сам убедил отца отдать его в коммерческую школу в Лейпциге. Туда он приехал в мае 1840 года.

Пробыв в коммерческой школе около года, он убедился, что будет несчастлив, если сделается куп-

ном. С удивительной ясностью он видит свою будущность в агитатарской деятельности, и ему удается убедить отца разрешить ему снова приняться за прерванные занятия в гимназии, чтобы посвятить себя науке. В дневнике описывается последняя четверть года его регулярных занятий в бреславльской гимназии и происшествия в коммерческой школе в Лейпциге. Если молодой человек,—будь он и не так известен, как Фердинанд Лассаль,—каждый вечер аккуратно записывает все, достойное внимание в его жизни, то и тогда эти откровенные его признания, эти интимные сердечные излияния имеют громадную психологическую ценность. В самом деле, здесь видно, как развивается характер, как созревает зародыш, как из неустойчивого мальчика постепенно образуется смелый юноша с умом и силой воли зрелого человека. Мы наблюдаем развитие человека, которое становится для нас наглядным в такой наивной и правдивой форме. И этот человек—Фердинанд Лассаль! Уже здесь, в зачаточной форме, намечаются особенности его характера и темперамента, которые впоследствии развиваются в отличительные качества зрелого человека; все резче и определеннее проявляются особенности этой необыкновенной личности.

Этот мальчик-юноша видел перед собою все свое будущее с такою ясностью, которая действует на читателя даже неприятно, если принять во внимание возраст пишущего. Уже читая этот дневник, предчувствуешь роковой конец. В этом отношении особенного внимания достойна та часть дневника, которая написана в Лейпциге во вторую половину 1840 года и в начале 1841 года.

15-тилетний юноша, во время пребывания во II-м классе в Бреславле, в своих записках совершенно не касается будущего или делает это только бессознательно. Здесь мы знакомимся с мальчиком в доме родителей и с учеником гимназии. Как в зрелом возрасте Лассаль обладал секретом вызывать к себе сочувствие, даже в своих противниках, так и здесь

наше внимание все больше и больше привлекают маленькие истории, рассказываемые Лассалем о себе и об окружающих. В этих рассказах перед нами вырисовывается с поразительной ясностью портрет этого, так рано созревшего, горячего, даровитого юноши с его разнообразными хорошими чертами и опасными шалостями. Мы живо видим перед собою не только его самого, но и всю его семью. Мы можем подробно изучить его знакомства. Мы получаем совершенно определенное впечатление, что так именно должна была складываться жизнь в семье зажиточного бреславльского купца того времени. В наше время нелепого деморализующего антисемитизма, почти опасно затрагивать, при объективном описании личности, ее религиозные стороны. Но в данном случае было бы ошибкой против объективности пройти равнодушно мимо них. Фердинанд Лассаль вполне понятен—только, как вышедший из провинциального еврейства, каким рисует его сам Лассаль, и как оно проявляется в массе случаев. Лассаль изображает себя правоверным евреем, но не смиренным и уступчивым, позволяющим наступить себе на ногу, а напротив—энергичным, воинствующим евреем, который глубоко чувствует оскорбления, наносимые его соплеменникам; он, как Маккабер, в глубине своего сердца таит желание восстать с мечом в руках против своих притеснителей. Он «не боится даже эшафота, если только можно этим снова сделать евреев уважаемым народом» (См. день 2 февраля).

Своим родителям, с которыми он во многом не соглашался и против которых иногда грешил даже резкими выражениями, он оказывал самое глубокое уважение и беспрекословное послушание. В родительском доме не всегда царил мир. Отец Фердинанда, Гейман Лассаль, был маленький тиран семьи, нетерпеливый и нервный. Фердинанд сам намекает на это во многих местах, но тотчас же за этим высказывает искреннее уверение в безграничной любви и благодарности к доброму, заботливому и снисходи-

тельному отцу, как бы чувствуя потребность оправдаться в непочтительности и смягчить невольно высказанную резкость.

В семье Лассаля происходили большие неурядицы. Сестра Фердинанда находилась в состоянии хронического раздражения, и это вполне понятно. Она с некоим Т. находилась в таких хороших отношениях, что почти была помолвлена. Молодые люди обменивались нежнейшими письмами. Но отношения их порвались, и прежний жених Т. стал вести себя самым недостойным образом. В городе он повсюду показывал письма Фридерики и причинял этим большие неприятности своей прежней невесте, всей ее семье и больше всего—отцу. Между тем, Фридерика обручилась со своим родственником Фердинандом Фридлендером, которого называют также Фридландом. Стоило уехать Фридланду в Париж, как родные Лассаля, пользуясь отсутствием жениха, постарались восстановить Фридерику против него, так как все они не сочувствовали этому браку. Некоторое время она колебалась, и на сцену выступили новые комбинации сватовства. Но, в конце концов, Фридерика твердо настояла на своем и стала ждать возвращения жениха из Парижа. Эта свадьба и молчаливо, и открыто неодобрялась и причиняла много беспокойства семье старого Лассаля. Фердинанд и Фридерика—не ладили друг с другом.

Также и с родителями у него часто происходили ссоры. Отец—зажиточный, но не особенно богатый человек—во всех своих расходах был чрезвычайно расчетлив и сердился на сына за то, что последний много тратил на платье. По поводу туалетного вопроса возник между отцом и сыном очень горячий спор. Старый Гейман не выдержал и побил Фердинанда; последний почувствовал такое сильное оскорбление, что решил лишить себя жизни. Но его удержал от этого отец, который уже сильно раскаивался в своей чрезмерной вспыльчивости и теперь стал осыпать Фердинанда предупредительностью, любовью и нежностью.

В семье Лассаля говорили по-еврейски, и в дневнике встречается много слов и оборотов, которых невозможно понять без помощи знающих еврейский язык.

Обращает на себя внимание также и серьезность, не по летам, в молодом юноше: можно было бы подумать, что он умышленно преувеличивает ее. В нем очень ясно проявляется склонность вращаться в кругу старших и вообще более взрослых, чем он, что, впрочем, очень нередко встречается у полувзрослых юношей, вместе с тем, он поддерживает самые близкие отношения со своими товарищами и ровесниками. Но особенное влечение Фердинанд чувствует к тем из взрослых, которые обращаются с ним, как с большим, например, к доктору Шиффу (Shiff) и Борхерту (Borchert). Первый советуется с ним по поводу своей любовной истории, когда Фердинанду не исполнилось еще 15 лет, и Фердинанд дает молодому доктору хороший совет, как вести себя с женщинами, благосклонности которых добиваешься. С Борхертом он обсуждает серьезный вопрос о призвании и т. п.

Кроме того, и в своей семье он играет некоторую роль, что при его юности кажется удивительным, тем более, что с этим же самым мальчиком, голос которого очень уважают на семейном совете, нередко обращаются как с глупым и невоспитанным ребенком. В то время, как вся семья колебалась решить вопрос, должна ли Фридерика выходить замуж за своего родственника Фридлендера, голос ее юного брата был не только выслушан, но все отнеслись к нему с большим уважением. С удивительной трезвостью и заботливостью обсуждает молодой Фердинанд перед своими родными расторжение помолвки Фридерики с ее родственником и возможность другого союза. Он знает, насколько богат новый кандидат, и выводит из известных ему фактов те требования, которые тот может предъявить. Далее, он высчитывает, какое приданое отец даст его сестре, предостерегает мать от чрезмерных жертв и оценивает внеш-

ние качества и образование своей сестры в 10.000 талеров (см. день 6 февраля). Словом, Лассаль в этом деле, к которому он относится исключительно практически, выказывает ловкость деловитого брачного посредника. Влияние, которым пользовался он мальчиком у своих родных в важных вопросах, способ обращения с ним в последующие годы — пробудили тщеславие в этом необыкновенно даровитом и живом юноше. Эта черта была развита в молодом Фердинанде до высшей степени. Впоследствии же она перешла всякие границы. Он с удовольствием отмечает, что одна красивая молодая дама сказала его сестре: «ваш брат очень остроумен», и что сестра ответила ей: «кто же сомневается в этом?» (См. день 2 января). «Я еще не блистал»,—пишет он после одного собрания. Об одном молодом человеке, с которым он встретился в обществе, он выражается так. «Осел! разве он мог бы смотреть на меня свысока, будь он хоть в три раза больше» (см. 23 января).

С восторгом записывает он отзыв о себе одного господина: «Вы не по летам остроумный малый. Будь вы пятью годами старше, с вами не ужился бы целый свет» (15 февраля). Он удивляется, что товарищи, «которые, я должен сказать, уступают мне в способностях, понимании, гении, силе суждения и уме — и еще в такой степени!» — получают хорошие отметки, а он — неудовлетворительные (21 февраля). Чувствуя себя одиноким среди своих товарищей, он сравнивает себя с высокообразованным римлянином, который, будучи сослан к диким народам, жалуется, что его считают варваром потому только, что не понимают его. О приказчике своего отца он говорит: «Я бесконечно лучше его по фигуре, образованию, ловкости, уму, богатству и внешнему виду» (1 марта).

Подобные проявления самосознания, редкие в таком молодом возрасте, повторяются у Лассаля очень часто. Совершенно излишне было в этом юноше, и без того более, чем следовало бы, проникнутом со-

знанием своего физического и духовного превосходства, усиливать чувство тщеславия еще разными комплиментами. А между тем, не одни только красивые молодые дамы говорили ему в лицо, что он замечательно умен и остроумен, но и рассудительные мужчины не скупились на похвалы. 24 марта он разговаривал с Борхертом, который сказал ему, что он недюжинный мальчик. «Я гениален,—записал в дневнике Лассаль,—поэтому ему будет очень неприятно, если я дам ложное направление своему уму». Затем он прибавляет: «Этому Борхерту я верю больше, чем кому-либо, потому что он не льстец. К тому же, он обладает в высокой степени sens commun. В том же меня уверяет и д-р Шифф. Я начинаю верить этому».

Эти заключительные слова, несмотря на всю их наивность, не вполне справедливы. Он давно был проникнут самомнением.

Из некоторых выражений в дневнике Лассаля видно, что молодой человек не только много воображает о своей гениальности и о преимуществе своего ума, но даже тщеславится своей наружностью. Он жалуется на недостатки своего платья. Он с удовольствием описывает свой триумф на одном маскараде, куда он явился в костюме амура, и радуется, что победил другого, одетого также амуром.

Тщеславием же объясняются многие другие его недостатки: его ветреное поведение в обществе старших, его охота к спорам, его упрямство относительно учителей. В каждом большом собрании происходит скандал между молодым Фердинандом и другим неловким гостем, и всегда так, что Фердинанд выходит из всяких границ, стыдит противника и принуждает его к покорному примирению. Так он поссорился в цирке с одним иностранцем—господином с кнутом в руке: «Я охотно пожелал бы этому кнуту более близкого знакомства с ушами его владельца» (5 апреля). Он — такой же ветреный и в школе. Он пишет из своих, обыкновенно плохих, отметках: «истина и вы-

мысел» (28 февраля), и, повидимому, удивляется, что получает за это выговор от учителей. Он вообще—неудачный ученик и обладает всеми качествами плохого ученика. Его поведение оставляет желать многого. Он относится к своим учителям, как к заклятым врагам, и постоянно жалуется, что с ним поступают несправедливо.

Все это относится к его пребыванию в бреславльской гимназии. Мы увидим далее, что его поведение и в лейпцигском коммерческом училище было такое же, даже—еще хуже. Очень понятно, почему учителя были плохого мнения о нем. От них не могло ускользнуть, что ученик обладает выдающимся умом, способностью легко все схватывать, замечательною памятью и необыкновенною остротою суждения. Должны бы получаться и соответствующие этому результаты, но молодой Фердинанд был необыкновенно ленив. Во всем его дневнике, где он по возможности все описывает подробно, нет ни одного указания на школьную работу, которую бы он сделал дома. После мы увидим, чем он занимался вне школы. Для школы он, во всяком случае, не работал. Заданные уроки он приготовлял в классе и обыкновенно в те часы, когда исполнялись письменные работы. Он находил вполне естественным, что не самостоятельно делал, а списывал их, и возмущался, когда неуслужливый сотоварищ отказывал ему в этом. С поразительною ясностью, вызывающей в каждом воспоминание о пережитых страданиях на школьной скамье, описывает он свое отчаяние, когда ожидаемая помощь не является (24 февраля). Во время урока он рассеян, не знает, о чем идет речь; когда же его вызывают, он спокойно берет книгу соседа и читает по ней. Его нисколько не мучит совесть, если случится пропустить урок. Однажды в воскресенье он развлекался. Во вторник и среду школа бывала закрыта. И вот в понедельник Лассаль пишет: «Сегодня я не хочу идти»... «у меня болит живот»,—прибавляет он комически (2 марта). В другой раз он поздно выходит из дому и, чтобы

не опаздывать сильно,—совсем пропускает урок, разыскивает хорошего приятеля и завтракает с ним, а затем молодые люди играют в карты (16 марта).

19 марта Лассаль пишет: «Я давно намеревался пропустить урок и сделаю это сегодня», и он опять отыскивает товарища для компании и завтракает с ним. Когда его приглашают на свадьбу, он сам пишет извинительную записку, подделав подпись отца, оставляет училище в 10 часов и идет к кондитеру, а оттуда к парикмахеру.

И этот избалованный добрый малый еще удивляется, что получает плохие отметки. Ведомости с отметками назывались в бреславльской гимназии «кондуитами». Когда они не совпадают с желаниями ученика второго класса и вызывают в нем опасение неприятной сцены с горячим и легко раздражающимся отцом, он поступает очень просто: подделывает подписи родителей. Сначала он подделывает подпись матери и зло острит, говоря, что у матери есть поверенный. Наконец, учитель замечает, что уж давно нет подписи отца, и требует, чтобы следующая ведомость была подписана отцом, в противном случае — выйдут неприятности. Тут Фердинанда охватывает некоторое беспокойство. Но он, со свойственною ему живостью, тотчас же хитрит и убеждает себя, что и в этом случае он имеет не меньшее право подделать подпись отца: отец слишком близко все принимает к сердцу и из-за одного плохого балла будет сердиться больше, чем следовало бы. И он решительно не собестится подделать подпись отца. Это его нисколько не смущает. Он непозволительно острит по этому поводу: «На другой день я принес журнал с подписью отца, т.-е. моею собственною, так как, смотря по обстоятельствам, я—и отец, и мать, и сын» (28 февраля). Эти подлоги он проделывает продолжительное время, с регулярностью, достойной сожаления. Наконец, его проделки обнаружились; это и было настоящей причиной, почему Фердинанд не мог оставаться в бреславльской гимназии и решил сделаться купцом.

Утверждение прежних биографов Лассаля, что отец предназначал Фердинанда к коммерческой карьере, и что сам Фердинанд противился этому, совершенно опровергается последующим изложением. Напротив, старый Лассаль предпочитал видеть сына занимающимся науками, но Фердинанд принудил отца взять его из Бреславля; он сам хотел сделаться купцом. В этом небольшом автобиографическом отрывке ничто, кроме разве прирожденного таланта, не указывает на то, что Фердинанду Лассалю когда-нибудь предстояло играть роль в науке. Влечение к науке и желание работать пробудились в нем гораздо позже. На первых порах он неохотно исполняет свои уроки, и почти всегда—в школе. По окончании классов у него нет другого желания, как только—забыть скучные часы учения. Он идет гулять, посещает своих друзей, бывает во всевозможных кондитерских Бреславля и, как старый чиновник, ежедневно, целыми часами, играет или на биллиарде, или в карты, особенно в «onze-et-demi», «écarté», в «шестьдесят шесть», иногда также в «Vierfuss». Кроме того, он учится игре в вист, пробует также и шахматы. В биллиардной игре он достигает совершенства и почти всегда выигрывает. Далее, в дневнике, мы слишком часто будем встречать записи молодого Фердинанда Лассаля об его игорных счетах. Они не представляют никакого интереса. Но мы поместили их потому, что они кажутся нам характерными.

Он — настоящий шелопай. Стоит только посмотреть, что он делает впродолжение дня (18 января). Он с приятелем играет шесть партий на биллиарде, затем идет к кондитеру, потом еще в другой трактир, где играет в два шара, потом играет еще три партии, затем еще, по крайней мере, три партии с другим приятелем. После этого он идет домой, играет с матерью в «écarté» и, наконец, с одним другом дома еще в «onze-et-demi». Подобным образом проходят все воскресения. Но и впродолжение недели он играет очень часто и после этого долго высчитывает

количество партий. Когда он проигрывает много, он дает себе обещание исправиться и не играть, но хорошие намерения держатся у него не долго.

Для ученика второго класса его бюджет был довольно велик. Его издержки на карты и биллиард, на расходы в разных трактирах и кондитерских вовсе немалы, и он часто испытывает денежные затруднения. Тогда он выискивает разные способы, чтобы улучшить свои финансы. В маленьких меновых сделках, совершаемых повсюду учениками, он выказывает замечательную хитрость и благоразумие купца. Это казалось бы, особенно предназначало его к той карьере, которую он вскоре выбрал себе. Он меняет все, что только можно: книги, часы, и т. д., и всегда с прибылью. Он барышничает также и со своей матерью: покупает у одного товарища перочинный нож за семь с половиною зильбергрошей и предлагает его матери за 10 зильбергрошей (29 февраля). В воскресенье, 15 марта, он с радостью записывает, что ему удалось продать матери перочинный нож за 10 зильбергрошей— «2½ гроша прибыли!»

Не всегда вполне честно поступает он в своих финансовых операциях. Он, например, берет книгу и долго ее не возвращает; владелец требует с него за это четыре гроша. Тогда он передает книгу некоему Бамбергеру и от этого Бамбергера «вымогает», как он сам пишет, четыре гроша. «Но Керн (владелец) получит зуботычину вместо четырех грошей», прибавляет он (9 января). Он заставляет отца дать ему 5 зильбергрошей для педеля, но отдает только два с половиной (14 января). Библиотекарь требует штраф за другую книгу, тоже долго задержанную. Фердинанд объясняет, что он вовсе не намерен платить ему эти деньги; «на всякий случай,—замечает он,—я вытребую у Бамбергера четыре гроша» (16 января).

Проклятие всякого зла заключается в том, что оно вызывает новое зло, и совершается это роковым образом.

Подложная подпись заставляет Лассаля постоянно обманывать как учителей, так и родителей; и он попадает в безвыходный круг постоянной лжи. Так, он пишет своему родственнику в Париж, что дело о помолвке с Фридерикой обстоит хорошо, хотя сам уверен в противном (10 января).

Сопоставление всех юношеских грехов, в которых кается Фердинанд Лассаль, будучи во втором классе, быть может, производит в нашем изложении слишком сильное впечатление. Но это—лишь глупые, всевозможные, мальчишеские шалости, которые совершает Фердинанд Лассаль. Там же, рядом, на страницах его дневника, говорится о многом, что нас приятно трогает и служит порукой тому, что действительно дело здесь идет о легкомысленных шалостях невоспитанного повесы, а не о настоящих подлостях. Его сердечная дружба с Исидором Герстенбергом трогательна, чиста и искренняя; его сильная любовь к родным, особенно к отцу, чиста, как золото. Он сам очень верно характеризует себя, когда пишет: «Я сам не знаю, как это происходит: я играю каждую субботу на биллиарде, что мне строго запретил отец; я сам подписываю свои ведомости, что тоже не хорошо; и вместе с тем, я люблю моего отца до экстаза, как только может любить сын. Я с радостью отдал бы за него жизнь, если бы это было необходимо, и однако... Впрочем, это происходит от моего легкомыслия. В глубине сердца я добр» (14 января).

Да, он добр, но ветрен и, прежде всего, невероятно пылок. Он прав, когда на первой странице своего дневника говорит о своем сангвиническом темпераменте. Страстность доводит его до мысли о самоубийстве. Он хочет броситься в воду после того, как отец побил его (29 января). Когда обнаруживается подделка подписи, он запирается в своей комнате и снова мудрствует над великим вопросом: «быть или не быть?» (13 апреля); и только любовь к родителям заставляет его оставить мысль о самоубийстве. Конечно, в незрелом юношеском преувеличении

много пафоса, но все-таки на это нельзя смотреть только как на тщеславие. Дневник его от начала до конца совершенно прост и искренен; и нельзя сомневаться, что, после унизительного наказания, страстным юношей, с отчаяния, серьезно овладела мысль о самоубийстве.

Удивительно, что мальчик таких лет, каким был тогда Лассаль, способен так пылко, так страстно ненавидеть. За ненавистью у него обыкновенно тотчас же следует непреодолимая жажда мести. Око за око, зуб за зуб! Он дает клятву, что не успокоится, пока не отомстит. Во время ссоры с сестрой он бросается на колени и кричит так сильно, что голос его становится хриплым: «Боже, Боже! сделай, чтобы я никогда не забыл этого часа! Змея, заливающаяся крокодиловыми слезами! ты пожалеешь об этом часе. Клянусь Богом! Буду ли я жить пятьдесят лет, или его, я не забуду этого до смертного часа. Не забудешь и ты!» (11 января). О человеке, который хотел оскорбить его сестру, он восклицает: «Проклятие ему! хотя бы еще двадцать лет пришлось мне ждать, я накажу его и сумею отомстить за оскорбленную честь моего дорого отца» (12 января).

Описывая, как плохо обошелся с ним в школе один из учителей, он говорит: «Терпение, терпение, время придет!» Об однокласснике, который смотрит на него с злорадством, он пишет: «Этот взгляд зажег во мне ненависть к нему, такую ненависть, которая, клянусь Богом, долго будет жить во мне, не скоро охладеет. Кроме него я ненавижу еще только одного человека—Т. (прежнего жениха его сестры). Клянусь Богом, эта ненависть будет длиться вечно. Смерть ему! Негодяй! Я буду желать ему погибели до моего последнего издыхания, клянусь Богом! Я не ограничусь одним только желанием. Я сам приступлю к делу!» И он еще более усиливает проклятия. Он проклинает с яростью ветхозаветной Деборы: «Самое ужасное проклятие — мне самому, если я успокоюсь прежде, чем отомщу; страшно отомщу этой собаке

за сестру и отца. Будь я проклят здесь и там, если когда-нибудь забуду об этом! Будь я проклят, если не заставлю его страдать в десять раз больше, чем те муки, которые он причинил отцу и сестре! Боже, ты слышишь это! (8 марта).

И с этой местью он не шутит. Он чувствует искреннее злорадство, если его врагу приходится плохо. Можно подумать, что слышишь псалмопевца, молящего о погибели своего врага. Он торжествует, если рассердит человека до болезни (1 марта).

Когда я прочел эти страстные места, я живо представил себе Лассаля, каким я видел его позже, в 1864 году, в Изерлоне, когда он стоял на ораторской трибуне перед тысячами рабочих, с приподнятой правой рукой, с блестящими глазами. Он—тот же и в 1864, и в 1840 годах.

Присмотримся поближе к окружавшим молодого Лассаля в начале 1840 года.

Бреславльский друг юности Лассаля оказал нам значительную помощь при восстановлении картин личных местных отношений Лассаля в Бреславле. Знать их необходимо для вполне ясного понимания нижеследующего; и к ним читателю часто придется возвращаться, так как я не хотел испещрять записки Лассаля примечаниями.

Отец Лассаля жил в собственном доме на углу Дворцовой улицы и Конной площади, сзади которой протекала, теперь засыпанная, речка Олэ. В этом здании, существовавшем уже двадцать лет, отец Лассаля, который вел крупную торговлю шелковыми и текстильными товарами, имел контору—«Gewölbe», как называют в Бреславле и в некоторых других городах. Старик Лассаль отличался видной и внушительной наружностью, был высокого роста и крепкого телосложения, с умным и приятным лицом. Он обладал порядочным состоянием и пользовался хорошей репутацией. Вспыльчивость доводила его иногда до запальчивости, но он, в сущности, был добр и нежно любил своего сына. Его жизнь с матерью

Лассаля, женщиной, вечно на что-нибудь жалующейся, была не вполне спокойна. К тому же госпожа Лассаль была глуховата. Излюбленной привычкой старика Лассаля было послеобеденное посещение коммерческого клуба—дружеского собрания на подобие берлинского братского союза; и из-за этих посещений в доме часто возникали семейные сцены. Старшая дочь Фридерика была красивая, свежая, живая девушка. Фердинанд был также красивый мальчик, высокий для своих лет, хорошего телосложения, с замечательно правильной головой, с роскошными темнорусыми кудрями, с высоким лбом, прямым носом и большими, умными, голубыми глазами. В доме жила еще сирота Эмилия, на половину член семьи, на половину прислуга Кроме того, есть случайное указание, что домашнее хозяйство было на руках у ключницы и кухарки. Внизу, в конторе, кроме отца, за делами присматривал приказчик. Домашними врачами были Гуттентаг и Петцольд, очень дельный хирург.

Ближайшей родней Лассалей была семья Фридлендера. Дядя Фридлендера и его дочь Дорхен часто посещали дом Лассаля. Его сын, которого Лассаль называет «кузеном Фердинандом», был помолвлен с Фридерикой. Этот Фердинанд Фридлендер, который позже назывался кавалером Фридландом, был очень даровитый и предприимчивый молодой человек. В конце 30-х годов он совершил путешествие в Персию с герцогом Деказом. Не получив систематического технического образования, он, тем не менее, был выдающимся инженером. Он ввел и организовал газоосвещение в Бреславле. Позже он жил в Праге. Его ум и ловкость пользовались общим признанием. Его считали любезным человеком, никто не порицал его характера, но он слыл, неизвестно почему, за авантюриста. Мы увидим, что в разговоре с сестрой о ее помолвке с кузеном Фердинанд высказывается против него. Потом Лассаль изменяет свое мнение. Во второй части дневника мы видим, что Лассаль совершенно

отказывается от противодействия и даст благосклонный отзыв о своем любезном, умном и опытном кузене.

Из родственников Лассаля упоминается еще тетка Бургхейм, почтенная матрона.

Еврейское общество в Бреславле делилось на два лагеря. Во главе одного стоял ортодоксальный, строго придерживавшийся церковных обрядов, главный раввин Тиктин. Противоположность ему представлял свободомыслящий, очень умный, ученый и в высшей степени влиятельный раввин, доктор Гейгер, принадлежавший к истинным друзьям дома Лассаля. Родители каждую субботу посещали храм, где говорил проповеди Гейгер, и молодой Фердинанд часто сопровождал их туда. Проповеди Гейгера производили на молодого человека сильное впечатление.

К друзьям дома принадлежали еще семейства Скутша, Либиха (виноторговца), Цадига, Вольгеймов; из последних упоминаются Матильда и Зигфрид Вольгеймы (брат и сестра умершего, несколько лет тому назад, в Берлине богатого торговца углем Цезаря Вольгейма). Кроме того, в доме бывали доктор Шифф, временно гостивший в Бреславле и Борхерт, очень даровитый человек, который позже делает политическую карьеру и становится депутатом. Он первый с полной ясностью понял будущее значение Лассаля и имел неосторожность говорить об этом молодому человеку.

Далее мы знакомимся с Брайнерсдорфом, очень остроумным светским человеком, пользовавшимся большой любовью в обществе, в котором вращалась семья Лассаля. Узнаем также о смерти друга дома Баршаля (31 января), и находим подробное описание двух свадеб: доктора Лангендорфа (происходившего из уважаемой купеческой семьи) и Ландсбергера (1 марта). Ландсбергер, один из трех пайщиков фирмы Л. С. Ландсбергер, принадлежал к знатнейшему купечеству Бреславля. Фирма, двумя другими участниками которой были коммерции советник Фридлендер и зять Фердинанда Фридлендера Ульман, владела,

кроме значительного шерстяного дела, обширными земельными участками и рудниками в Верхней Силезии. Она и теперь еще сохраняет свою солидную репутацию.

Упоминается еще много других лиц, о которых здесь нельзя сказать ничего особенного.

Лассаль посещал реформатскую гимназию. Причины, заставившие его покинуть ее, в точности нам неизвестны, но их легко угадать. И в реформатской гимназии Лассаль был таким же плохим учеником, как и в Магдалинской, и чувствовал себя так же неловко, как и там.

В то время, к которому относится начало дневника (январь 1840 г.), он был учеником второго класса Магдалинской гимназии. Учителями этой школы, которых он упоминает и из которых ни один не пользовался его расположением, были: директор, доктор Шёнборн, доктор Тширнер, бывший повидимому классным наставником Лассаля, Рудигер, учитель французского языка, Гиллер и Кёхер. Среди товарищей Лассаля мы встречаем имена Кёлера, сына органиста в церкви Елизаветы, который в гимназии обнаружил необыкновенные способности к рисованию, Мейтцена, после профессора берлинского университата и тайного советника, Гана, бывшего управляющего нашим министерским бюро печати, издателя «Provinzial-Correspondenz» и речей Бисмарка (этот Ган, на школьном языке Лассаля, его самый ненавистный «враг»), Габера, родственника Зигмунда Габера, известного юмориста, автора водевиля «Ein Stündchen auf dem Comptoir» и редактора журнала «Ulk»,—и других.

Лучшими друзьями Фердинанда были братья Герстенберги, сыновья лотерейного коллектора (торговавшего лотерейными билетами). Старший Самуил, был спокойным, частным купцом и никогда не выходил из тесного круга своих занятий.

Ближе всех стоял к Лассалю младший Герстенберг, Исидор, которому тогда было около 17 лет. Лассаль питал к нему горячее чувство дружбы. Этот

Исидор Герстенберг, богато одаренный умом и благородным характером, сделал позже блестящую карьеру. Из Бреславля он поехал, после кратковременного пребывания у своего дяди Луи Герстенберга в Гамбурге, в Англию, пробыл несколько времени в Манчестере и затем поселился на постоянное жительство в Лондоне. Здесь, благодаря своей деловитости и изобретательности, он составил себе выдающееся положение в торговом мире. После продолжительного пребывания в Лондоне, он добился допущения его на местную биржу.

Вскоре затем он приобрел доверие крупнейших лондонских дельцов. Он первый высказал и осуществил идею коллективной гарантии владельцев иностранных ценных бумаг против ненадежности иностранных правительств; он предложил образовать союз всех заинтересованных лиц, чтобы соединенными силами защищать право владельцев таких сомнительных ценностей и облигаций иностранных государственных займов. По его инициативе и при его непосредственном участии возникло общество владельцев ценных бумаг. Этот союз должен был всеми зависящими от него средствами: путем прессы, воздействия чрез дипломатических представителей, посылкой делегации на места и т. п., взыскивать с слишком медлительных заемщиков долги деньгами или имуществом, напр., земельными участками и т. п.,— одним словом, защищать европейский капитал. Идея эта встретила широкое сочувствие и до сих пор оказывает большие услуги торговому миру. Исидор Герстенберг занял почетный пост канцлера этого союза. В этом предприятии он сам приобрел значительный капитал.

Управление другими крупными торговыми фирмами, во главе которых он стоял, было для него также очень выгодно. Он, между прочим, соединил кабелем Англию и Континент. Капитал, который он приобрел, благодаря своим крупным коммерческим операциям и духу предприимчивости, оценивается в 1 миллион фунтов стерлингов. Он рассказывал, смеясь,

одному своему другу, что в Екуадоре владеет земельными участками в 2700 кв. миль, которые достались ему в уплату долга.

Во всех областях он обладал всеобъемлющими знаниями. Он был самоучкой в лучшем смысле этого слова. Вращался он в самом избранном лондонском обществе. К интимному кружку Герстенберга принадлежал Лотарь Бухер, состоявший тогда лондонским корреспондентом «National-Zeitung'a». По всей вероятности, через посредство Герстенберга состоялось знакомство Лассаля с Бухером. Мы знаем, как впоследствии сблизились эти два человека: в мастерском памфлете «Julian Schmidt, der Literarhistoriker» мы имеем доказательство этого духовного единения. Интимным другом Герстенберга был также Фердинанд Фрейлиграт. Все, знавшие Герстенберга, отзываются о нем, как о выдающемся коммерческом гении, как об умном, богатом, крупном торговце, как о предпринимателе на широкую ногу, смелом и притом спокойном и осмотрительном.

Исидор Герстенберг кончил трагически. В одном из своих предприятий он потерпел значительные убытки. Он деятельно занялся тем, чтобы уменьшить их и сохранить все, что только было возможно. Как-раз в это время на фабрике произошел взрыв. Непосредственно он не пострадал, но от вдыхания вредных газов у него появились головные боли и пострадали дыхательные органы. Для поправления здоровья он предпринял поездку на курорт. Это было в 1876 году. При переезде ночью из Дувра в Калэ, он почувствовал дурноту и вышел на палубу. Прогуливаясь, он имел несчастье упасть в машинное отделение,—по непростительному легкомыслию, не закрытое сверху и не освещенное,—и был растерзан машиной. Конечно, пароходное общество, чтобы снять с себя упрек в непростительном легкомыслии, стало утверждать, что Герстенберг погиб в припадке помешательства. Показания заслуживающих доверия свидетелей говорят о противном; к тому же установлено

что машинное отделение не было освещено, и отверстие не было огорожено После своей смерти Герстенберг оставил значительное имущество, хотя и не такое большое, как предполагали —около 10 миллионов марок. В описании Лассаля Исидор Герстенберг, тогда еще молодой, рисуется, как в высшей степени симпатичный и достойный любви человек.

С ним и другими друзьями Лассаль часто и, конечно, тайком посещал все кондитерские и кофейни Бреславля Так, мы узнаем «Häsel», трактиры и кондитерские Гессе, Кастнера, Манатшаля, Орланди, Клоссе Часто упоминаемый ресторан Кролля, который Фердинанд посещал с своими родителями и друзьями дома, представлял великолепный увеселительный зимний сад. Говорится также о ресторане, в который Гютер с берегов Рейна доставлял тогда еще очень редкие в Бреславле устрицы.

Часто упоминаемый Керн—книгопродавец и библиотекарь.

Для тех, кто не знает, Бреславля, следует еще заметить, что не раз упоминаемый Клейнбург—теперь предместье—тогда лежал от города в $^3/_4$ часа пути по шоссе. Клеттендорф находится за Клейнбургом на расстоянии четверти мили.

Первая часть дневника, от 1 января до середины апреля, которую мы озаглавили: «Школьные горести и радости в Бреславле», менее интересна; но, всетаки, она в высшей степени важна для понимания жизни и характера Фердинанда Лассаля Из нее мы узнаем, как, благодаря всякого рода глупым проделкам, дальнейшее пребывание в школе стало невыносимо для ученика II-го класса, и какие особенные обстоятельства побудили его настоятельно просить отца взять его из классической гимназии и позволить ему готовиться к коммерческой деятельности. Эти страницы в высшей степени важны для ознакомления с обстоятельствами внешней жизни молодого Лассаля и с его характером Вполне оценить их значение можно только в связи со второй частью, относящейся к тому времени,

когда перед молодым человеком ясно и решительно выступает и также определенно им разрешается вопрос о будущем. Всем запискам, как бреславльским, так и лейпцигским, общая одна черта—полная, доходящая подчас до грубости, искренность. Эта беспощадная откровенность нам кажется лучшим достоинством дневника. Ради нее молодому повесе, который с твердой последовательностью выполняет намерение быть беспристрастным к самому себе, мы прощаем многое, что было бы совершенно неизвинительно под какими бы то ни было лицемерными прикрасами.

В этих непринужденных признаниях необыкновенно умного юноши с особенной ясностью выступает его двойственность в период формирования его характера. С одной стороны, мы имеем дело с совершенным ребенком, с детскими шалостями, детским своеволием и детскими горестями; с другой,—перед нами почти уже мужчина, зрелость которого производит почти неприятное впечатление. Взрослые ждут от него совета, он подает свой голос в важнейших событиях семейной жизни; после всех душевных колебаний он вполне сознательно рисует себе программу своей будущей деятельности. В еще неполные 16 лет им всецело овладевает неясное стремление, увлекающее его к деятельности, которую впоследствии он избирает вполне сознательно. Он чувствует в себе борца, оратора и агитатора и, повидимому, без труда убеждает отца позволить ему научно подготовиться к деятельности, которую он считает задачей своей жизни. Здесь не место решать вопрос, правильна-ли это дорога. Проницательный ум, беспощадная непреклонность, страстная ненависть ко всем, кто против него, твердая решимость прибегнуть к силе там, где убеждения не помогают,—все эти свойства являются характерными в искренних признаниях полудитяти-полуюноши.

В противоположность этим резким чертам его характера, нас приятно трогают его сердечные отношения к родным. С сестрой Фридерикой он сначала

живет не в ладах; но эти отношения с течением времени все более улучшаются, и, когда его сестре угрожают неприятности извне, он заступается за нее со всею страстностью братской любви. Он не слеп к недостаткам своих родителей, но всякий раз, когда его разум не может примириться с их требованиями, сыновнее чувство уважения и чистая детская любовь берут верх. Во второй части дневника (в это время он живет уже вдали от своих) особенно ясно сказывается в нем сознание, как неразрывно, всеми фибрами своего сердца, он связан с родными. И он, думая о своем добром отце, не находит достаточно слов для выражения своей безграничной благодарности.

В первой части, с которой мы сейчас познакомимся, юный ученик второго класса занят почти исключительно школьными заботами и неприятностями, возникшими по его собственной вине, и неотвязчивой мыслью о том, как бы скорее выйти из невыносимого положения. Он не имеет ни времени, ни охоты думать о своем будущем; он думает только о том, как бы свалить с себя школьные обязанности, и если не участвует в общественных развлечениях с своими родителями, то ищет общества своих друзей, чтобы пофланировать с ними, поиграть в карты или на биллиарде.

Остается еще сказать несколько слов о том, как мы воспользовались записками Лассаля для печати. Само собой разумеется, что мы не делали ни малейших прибавлений к тексту. Но мы выпустили многое, не представляющее никакой важности, именно—подробные счета выигрышей и проигрышей; в 2—3 местах мы смягчили недопустимые в печати грубые выражения, заменив их соответствующими по смыслу перифразами, и выпустили имена некоторых лиц,—о которых Лассаль выражается непозволительно грубо,—заменив их начальными буквами.

Что дневник Лассаля достоверен, что от первой до последней страницы он написан его собственной рукой, это не подлежит ни малейшему сомнению.

ЧАСТЬ I.

Школьные горести и радости в Бреславле.

С 1-го января до средины апреля 1840 г.

Эти страницы посвящаются всем моим поступкам, моим ошибкам и добрым делам. Здесь я хочу не только описывать, как можно добросовестнее и вернее мое поведение,—но и объяснять его мотивы. Для каждого человека очень желательно изучить свой характер. Как в романе можно узнать характер разных лиц из их действий и разговоров, так и каждый человек может себя изучить, читая внимательно свой дневник, если он, не ослепленный самолюбием, правдиво и точно все описывал. Если я поступил несправедливо, то не буду ли я краснеть, записывая это? и не буду-ли я еще больше краснеть, читая об этом впоследствии? Эта двойная правоучительная цель, а также мысль о том удовольствии, какое получается, через несколько лет, при чтении своего дневника, вызывающем в воспоминании все, чем прежде наслаждался и что выстрадал,— побудили меня писать его.

Фердинанд Лассаль.

1 января 1840 года.

Мотто: Истина? Как! К истине только я и стремлюсь!

(Шиллер)

Среда, 1 Января 1840 г.

После весело проведенной ночи, я встал, как обыкновенно, в восемь часов утра. Я оделся и пошел к Исидору Герстенбергу, в его контору. Я жаловался ему на безденежье, так как проиграл Сильвестру все свои деньги до последних пяти зильбергрошей. Исидор предложил мне взаймы, но я отказался. Потом от него я пошел к Манатшалю позавтракать, проел три зильбергроша и прочел «Journal des Debats». В прежнее время я с Гейном ходил к Гессе играть на биллиарде, теперь же не мог этого сделать, потому что во время богослужения это запрещается. От Манатшаля я отправился домой, а оттуда на квартиру к Самуилу Герстенбергу. Он только что встал. Одевшись, он пошел со мною в «Гезель» играть на биллиарде. Мы оба играли плохо, и партия тянулась долго. Некоторые из присутствующих, хорошие игроки, выражали нетерпение и смеялись над нашей игрой, так что я сконфузился и сыграл только две партии. Потом я стал смотреть игру других. Один из них действительно играл превосходно. Он показался мне человеком, для которого биллиардная игра составляет промысел. Он бил только одинокие шары и играл все время на деньги.

Это был христианин невысокого общественного положения. Он предложил Самуилу партию на четыре гроша, давая ему вперед 40 очков. Я сказал Самуилу, что хотел бы сыграть за него и на его счет. Самуил предлагал поставить только два гроша, но я остался непоколебим. Наконец, мы условились, что я сыграю с тем игроком на два гроша, и половину даст мне Самуил. Первую партию я потерял, вторую, третью и четвертую—выиграл. Несмотря на крики и жалобы моего партнера, я хотел прекратить игру. Следующую партию я провел неохотно, так как это было против моих правил, и больше играть не захотел. Если я охотно

играю, то это еще не страсть. Мой партнер, проиграв 4 гроша, требовал, чтобы я дал ему отыграться. Я отказался, но потом уступил,—когда Самуил стал меня убеждать,—заранее решив, что это будет последняя партия. Я выиграл, разделил 8 зильбергрошей с Самуилом, условился придти к нему в 2 часа, и мы разошлись, смеясь над моим разгневанным партнером; чтобы иметь деньги на послеобеда, я занял восемь грошей у Исидора и пошел домой. Было—половина первого. На лестнице я встретил раввина Гейгера. Наверху был Скутш с дочерью. Отец спросил меня, почему я опоздал, но я поспешил проскользнуть в свою комнату. Здесь я увидел «яромир»[1]) и эту книгу. Я сейчас же догадался, что это все для меня: я как-то выражал отцу желание получить галстух, поэтому он и купил мне «яромир», думая что я хотел иметь нечто подобное. Я решил не показывать отцу, что он ошибся. Он хотел обрадовать меня, исполняя мое желание, и я был слишком деликатен, чтобы сказать ему: отец, ты ошибаешься, подобный платок не может меня обрадовать. Этой чертою характера я не похож на свою мать; я был тронут добротой отца, тем более, что я сейчас только возвратился после игры на билльярде, которую он мне запретил. Зачем же я играю на билльярде? У меня есть недостаток: я не повинуюсь слепо приказаниям отца, а сначала обдумываю сам и спрашиваю себя: почему отец запрещает мне это? Я пришел к такому решению: мой отец ничего не имел бы против того, чтобы я в свободный час сыграл одну партию на билльярде; запрещает же он мне это из боязни, что при моем сангвиническом характере это превратится в страсть. Прежде я нарушал это запрещение, потому что, действительно, пристрастился к игре. Теперь эта страсть прошла, и на будущее время ее нечего опасаться, потому что никакая страсть, кроме любви, не может дважды терзать человеческое сердце. Поэтому я могу играть, не нарушая смысла отцовского запрещения. Я придерживаюсь следующего изречения: «буква убивает, дух же оживляет»; если я и переступаю букву запрещения отца,

---

[1]) Так называется широкая шаль для головы, которая закрывает шею и уши. В этом одеянии изображается разбойник Яромир в «Ahnfrau» Грильпарцера, и отсюда это кашне получило свое название.

то этим нисколько не нарушаю духа его—единственной сущности, той его цели, которой отец хотел достигнуть. Справедливо-ли я поступаю,—не знаю.

Но довольно об этом. За обедом я рассказал отцу, что читал «Journal des Débats». Он спросил меня, где я читал и когда. Я ответил, что у Манатшаля. Он сказал тогда, что мне еще не годится ходить к кондитеру. После обеда отец послал меня с 50 талерами к доктору Гутентагу. Последний был изысканно любезен и долго разговаривал со мной.

Вечером я отправился с Исидором и целой свитой к Гессе, где мы сыграли две партии, из которых я выиграл одну. После этого мы играли в «onze-et-demi», и я тоже выиграл.

Четверг, 2 Января.

Перед обедом не произошло ничего особенного. После обеда мать предложила Скутшам, г-же N. и кузине Дорхен пойти к Кролю. Позже они должны были прийти к нам ужинать. Гости собрались в два часа, пришел и доктор Шифф. Я оделся и вышел в гостиную.

— Доктор Шифф, — сказал я, — как вам нравится madame N.?

— Необыкновенно! О, еслиб я мог иметь успех у нее...

— Нет ничего легче,—ответил я.—Я хочу сообщить вам необходимые подробности: тогда вы смело можете попробовать.

Komm den Weibern sanft entgegen,
Du gewinnst sie, auf mein Wort!
Doch wer kühn ist und verwegen,
Kommt gewiss noch besser fort [1].

---

[1] Подходи к женщинам кротко,—
Ты победишь, даю слово!
Но тот, кто смел и отважен,
Навериое еще скорее успеет.

Лассаль почти всегда цитировал неточно; от этого недостатка он не избавился и в более зрелом возрасте. Эти слова «Опытного» из «Альманаха Муз» следующие:

Я продекламировал эти стихи почти громко, потом прибавил тише:

— Я думаю, что эту крепость лучше всего взять приступом.

— Ты ангел! — воскликнул доктор, потащил меня к г-же N. и начал с ней любезничать.

Поехали к Кролю. К 6 часам возвратились домой и прошли в первую комнату, где был уже накрыт стол. По общему требованию доктор Шифф сел за рояль. До сих пор я еще не блистал и не говорил с г-жей N., так как у меня сильно болели зубы.

Когда пошли ужинать, г-жа N. села на диван. Шифф решительно придвинул свой стул к дивану, а я сел на диван с другой стороны г-жи N. и сам предложил, между прочим, заметить эту непристойность. Тут г-жа N. попала под перекрестный огонь. Доктор был очень остроумен, так что она не могла с ним справиться.

Я в этот вечер тоже хорошо говорил. Шифф слушал меня в течение минуты и сказал:

— Фердинанд, ты вовсе не язвителен.

Он сказал это так медленно и серьезно, что мне показалось, будто он действительно так думает.

Г-жа N. разразилась целым потоком комплиментов.

Позже Шифф обратился к моей сестре и сказал:

— Ваш брат очень остроумен.

— Кто же сомневается в этом? — ответила она с большой претензией.

Шифф внезапно обратился к N.:

— Madame, я хотел бы видеть вас невестой.

— Я был так счастлив, доктор! — воскликнул я с воодушевлением. — Я никогда не забуду тех минут, когда madame N. шла к венцу. Вообразите себе эти полные души

Geh' den Weibern zart entgegen,
Du gewinnst sie, auf mein Wort!
Und wer rasch ist und verwegen,
Kommt vielleicht noch besser fort.

Т.-е.

Иди с нежностью на встречу женщинам, —
Ты победишь, даю слово!
Но тот, кто быстр и отважен,
Быть может, еще скорее успеет.

глаза, полуоткрытые, полуопущенные к земле, наполненные слезами, которые угрожали их затмить... Миртовый венок на волосах невесты, шелестящее белое атласное платье на этих пленительных формах...

— Довольно, мой сын: ты черезчур увлекся поэзией! — воскликнул отец полушутя, полусерьезно. Г-жа N. нежно пожала мне руку, а у меня мелькнула мысль: «если бы мне было уже 20 лет!»

— Я не знаю, что бы я дал, если б мог добиться благосклонности этой женщины, — воскликнул доктор, вскакивая из-за стола.

— Да, — улыбнулся я, — если бы я был постарше...

— Посоветуй же мне, мой ангел, — сказал он мне.

— Ну, слушайте: проводите г-жу N. домой и дорогой попросите позволения посетить ее завтра. Она вам в этом не откажет. Завтра отправляйтесь к ней. Ее муж уезжает, а зять занят; значит, она одна; и тогда—смелее вперед! Я держу пари: Monsieur, vous serez à plaindre...[1])

Вечером, когда г-жа N. стала собираться домой, Лакс через мою сестру предложил проводить ее. Шифф все-таки последовал моему совету и пошел с ними.

Я хочу здесь же записать дальнейший ход этого предприятия.

Шифф не хотел в присутствии Лакса просить у ней разрешения посетить ее; но все же отправился к ней на другой день. К несчастию, невестка была дома. У нас говорили, что г-жа N. была поражена назойливостью Шиффа. Я считаю это достоверным, так как слышал об этом из двух источников. Я так себе объясняю: г-жа N. была несколько любезна с Шиффом, невестка же в присутствии Лакса трунила над этим; чтобы оправдать себя, N. стала высмеивать Шиффа. Шифф рассказывал мне, что она встретила его очень дружелюбно. Он спросил: можно ли навещать ее? Она сама вышла в корридор и просила его не забывать ее. Услышав от меня ее мнение о нем, Шифф оскорбился и решил больше не посещать ее. А не случись так—пришлось бы очень пожалеть г-на N.

---

[1]) Вы поправитесь.

Пятница, 3 Января.

Ночь я провел с страшной зубной болью.

Утром мне выдернули зуб. Меня трясла сильная лихорадка, и я должен был лечь в постель. Доктор Гутентаг прописал мне лекарство.

Суббота, 4 Января.

Из-за своей болезни я не мог слушать проповедь доктора Гейгера. За это время не произошло ничего особенного. Только я еще более убедился, что мои добрые родители меня очень любят. Играл все время в «Экартэ»; мать подарила мне на расходы дукат.

Воскресенье, 5 Января.

Мой друг Исидор навестил меня; я люблю его больше всех из моих знакомых. Другие—только так называемые добрые друзья, он же мой друг.

Я это высказал моему отцу.—Смотри, отец,—сказал я ему,—побеспокоился ли обо мне хоть один из моих друзей? Только один Исидор любит меня, и я его тоже.

Понедельник, 6 Января.

Я послал в школу—объяснить причину своего отсутствия и передать деньги за ученье.

Среда, 8 Января.

Ах, если бы моя мать, которая, в сущности, так добра, избавилась от своего недостатка — привычки кричать и браниться! Этим она делает несчастной себя и отца. Она способна браниться из-за маленького кусочка тесемки! О, милосердный Боже! Дай, чтобы спокойствие возвратилось к нам, спокойствие и мир!

Пришло письмо от Фердинанда [1]).

---

[1]) Будущего мужа сестры Лассаля.

Четверг, 9 Января.

Я встал с постели. Бамбергер пришел навестить меня. Исидор сказал мне, что Кери требует с меня четыре гроша, так как я долго держу роман St.-Roche [1]). Б. уже прочел первый том. Я на всякий случай взял у Б. четыре гроша. Но Кери, разумеется, получит зуботычину вместо 4 грошей. После обеда я сыграл с дядей Фридлендером две партии в шахматы и выиграл 4 гроша. Это тоже хорошо! Когда тело мое слабо, кошелек мой крепнет; боюсь, как бы с укреплением тела не стал худеть мой кошелек.

Вечером я говорил с отцом о докторе Ш., который до сих пор живет в Бреславле, как думает отец, потому, что он не в состоянии расплатиться со своим хозяином.

— Мой сын,— сказал мне отец,— это ничего не значит для такого господина, как Ш., который ночью заставляет Гютера отворять двери, чтобы есть устриц.

Я промолчал, хотя подумал: о, мой отец!

Есть устриц не так уж грешно.

Отец называет такую жизнь распутной, а я имел пристрастие к такой распутной жизни.

Пятница, 10 Января.

Мать как-то рассказывала мне, что однажды выиграла в маленькую лотерею порядочную сумму и что заранее это предчувствовала. Тогда я сказал ей, что хочу с Исидором попробовать счастья, так как предчувствую, что выиграю. Я так глуп, что серьезно верю в это.

Я написал приветствие Фердинанду от его «любящего шурина», как я назвал себя, и известил его, что курс его акций повысился,— хотя я уверен совершенно в противном.

После обеда Фридерика хотела пойти к тетке Фридлендер, но так как она была там вчера вечером против желания отца и матери, то они не позволили ей идти. Рассерженная этим, она слегла в постель. Вскоре пришел Ш. и

[1]) Очень распространенный в то время роман Генриэтты Ганьцов.

сказал мне, что Рикхен обидела его: не обратила внимания на его поклон, когда ехала к Кролю, и не ответила на его приветствие. Потом он рассказал мне, что дрался на пистолетах с одним рецензентом, Отто Видеманом, за то, что тот наклеветал на него, и что никто из них не ранен. После того он послал к Рикхен спросить, не может ли она «встать и притти сюда» и... смотрите!.. она пришла. Вечер прошел без всяких происшествий. Он должен был уступить место ужасному утру.

Суббота, 11 Января.

Моя рука содрогается—оттого, что должна описывать сцену этого утра. Но я обещал одну только правду.

Уже за кофе, когда мать заговорила о том, что вчера Рикхен через-чур поспешно встала с постели для Ш.,—отец закричал с неудовольствием:

— Уж довольно, довольно!

Со стола убрали. Вдруг в задней комнате поднялся шум. Эмилия опять оставила открытым шкаф, где хранятся серебряные подсвечники, скатерти и т. п. Мать в это время вошла в комнату и воспылала справедливым негодованием:

— Ты опять оставила шкаф открытым!—закричала она на Эмилию и дала ей пощечину. Это, может быть, было уже черезчур. Эмилия плакала и старалась оправдаться. На шум прибежала сестра.

— Ах!—жаловалось это глупое и, как я впоследствии узнал, лживое создание,—госпожа так бьет меня.

Сестре это было на-руку. Она все еще сердилась за то, что ее не пустили вчера к Фридлендерам, и теперь забросала мать упреками. Шум усилился. Я вбежал туда, схватил сестру и увлек ее в другую комнату. Здесь, в присутствии отца, она сказала:

— Ах, ты безжалостный! Эмилия теперь уйдет от нас, непременно уйдет.

— Да,—ответил я,—если мать прикажет, она должна будет уйти сегодня же.

— Глупый мальчик! — сказал отец. — Разве ее взяли с улицы? Об этом нужно переговорить с опекуном.

Сестра опять пошла туда.

— Ты останешься здесь!—приказал мне отец. Сестра, как я потом узнал, поступила очень скверно.

— Ты хочешь бить сироту?—повторила она.—Ты?..

В это время к ним вошел отец. Он был так рассержен, что схватил мать за руку.

— Я не позволю в моем доме обижать сироту!—прогремел он и гневно вышел из комнаты.

Он ушел с сестрой на проповедь Гейгера. Моя мать, плача, осталась около меня.

Я был раздражен против сестры и против отца, который дошел до такой крайности,— и утешал мать.

— Ах — жаловалась она, — меня не так оскорбляет поступок отца, как поступок моего собственного дитяти...

Раздражение против сестры довело меня до крайности: я стал упрекать мать в том, что она в деле с Т.[1]) была на стороне Рикхен и в продолжение целых месяцев своими просьбами, упреками и бранью делала несчастными и отца, и меня. Я уговаривал ее сдерживать себя с Рикхен, кухаркой и Эмилией, особенно в присутствии отца. Ах, если бы она поступала так! Она избавила бы и себя, и всех нас от многих неприятностей.

Отец возвратился домой. Он был уже спокоен. Затем пришла Рикхен, а отец ушел в контору. Мать хотела-было продолжать спор с Рикхен, но я убедил ее успокоиться, так как боялся, что отец скоро вернется, и, если он застанет ее в споре с Рикхен, произойдет новая сцена. Я выразил свое горькое чувство в таких словах:

— Мне кажется, дети, доводящие дело до того, что между матерью и отцом возникают разговоры о разводе, не могут быть счастливы.

Рикхен старалась защищаться, но все-таки говорила о матери со злобой и сурово.

---

[1]) Т., кажется, ухаживал за сестрой Фердинанда, но дальше обручения дело не пошло. Т. поступил с семьей Лассаля в высшей степени неделикатно. Фердинанд ненавидел его до фанатизма.

— Иди, иди,—сказал я ей, схватив за руку, и повернул ее к двери, но в мыслях у меня не было толкать ее.

Она обиделась на меня, потому что чувствовала справедливость моих упреков. Она ухватилась за представившийся ей предлог и со своим искусством притворяться начала сильно плакать и кричать:

— Как! ты смеешь бить меня, твою сестру!

При этих словах она подбежала и ударила меня. Я хотел отплатить ей тем же, но мать остановила меня. Сестра бросилась в другую комнату на первый попавшийся стул и начала плакать и так кричать, точно ее кто-нибудь резал. Тогда меня охватило бешенство. Я видел, на что она рассчитывала: скоро должен был возвратиться отец, так как было уже обеденное время. Он сейчас же подумал бы, что мать виновата в этом, и произошла бы новая сцена, в которой мне пришлось бы играть очень видную роль. Я представил себе отца бледным, расстроенным, уходящим из дому без обеда, а мою милую мать, последнее время так угнетенную, сильно плачущей. В одно мгновение я сообразил все это. Бешенно ворвался я в комнату, где была сестра. Мать со страхом поспешила за мной. Кипя яростью, я бросился на колени, заломил, как сумасшедший, свои руки и закричал с такой силой, что мой голос охрип: «Боже! сделай, чтобы я не забыл никогда этого часа! Змея, заливающаяся крокодиловыми слезами! ты пожалеешь об этом часе. Клянусь Богом! Буду ли я жить пятьдесят лет или сто, я не забуду этого до смертного часа. Не забудешь и ты!» От этого порыва сильной ярости я совершенно обессилел. Мать поддерживала меня, сестра перестала плакать: она была перепугана. Меня с трудом могли успокоить. Как мир достигается войною, так и мой сильный гнев был средством для восстановления спокойствия. Моя сестра, эта гордая натура, была потрясена. Она ушла в дальнюю комнату.

Вскоре после этого пришел доктор Ш., а за ним и отец. Все было спокойно, как обыкновенно, только отец с матерью не разговаривали. Ш. ушел. Меня навестил Исидор. Играя с ним в шахматы, я услышал, как сестра сказала тихо отцу: «В городе рассказывают ужасные новости».

Потом она что-то прошептала, но так тихо, что я не мог расслышать. На это отец ответил: «Это меня нимало не удивляет».

Фирма Бенони Герман и К°—обанкротилась.

Вечером мы все были заняты разговором об этом. Отец считал (и он был прав) счастьем, что он не состоял ни в каких отношениях к этой фирме.

Маркуз задержал бы катастрофу до самой свадьбы, и тогда она обрушилась бы всей своей тяжестью на отца.

Спасая свое честное имя, отец все платил бы за своего зятя, и—ужасная мысль!—сделался бы банкротом. Я уверен, что Т. вовсе не любил моей сестры, а просто хотел, вместе с Маркузом, вступить в родственную связь с нашей семьей, чтобы ограбить отца.

Но, благодаря Богу и твердости отца, этот дьявольский план не приведен в исполнение.

Воскресенье, 12 Января.

Нас посетил дядя Фридлендер: он уже знал об этом событии. Мы снова говорили об этом ужасном человеке (Т.), который хотел вовлечь нас в несчастье, обманывая славную девушку. Отец сказал, что не сердится на него. Но если это так, если это ухаживание было только искусной спекуляцией, если он не думал довольствоваться тем, что возбудил в девушке злобу против ее родителей, расстроил благородную семью и уничтожил ее спокойствие и мир, если он хотел погубить и ее внешнее благосостояние, если им руководила не страсть, а только дьявольский расчет, если правда, что он хвастливо запятнал честь девушки,— проклятье ему!

Хотя бы еще двадцать лет пришлось мне ждать, я накажу его и сумею отомстить за оскорбленную честь отца!

Дядя Фридлендер увел нас к кондитеру Манатшалю. Чего только люди не делают ради приобретения невестки!..

После обеда мать хотела ехать в Клейнбург. Я должен был принести наверх брошь. Отец сначала не соглашался.

но потом отдал мне ее вместе с браслетом, а серьги оставил у себя [1]).

Мне хотелось провести послеобеденное время с своими знакомыми. Когда я стал прощаться с матерью, она была удивлена и огорчена тем, что я не хотел с ней ехать. Я настаивал на своем.

— Ты скажи об этом отцу, чтоб он удивлялся,—сказала она мне.

Я пошел в контору, все шло хорошо. Я попрощался с отцом и взялся за ручку двери, как вдруг отец крикнул:

— Куда?

— К моим друзьям!

— Ты поедешь с нами!

Я отказался и просил отца отпустить меня.

— Сын мой,— сказал он, целуя меня,— останься со мною: ты еще так мало побыл в отцовском доме. Разве тебе у меня не хорошо? Разве тебе лучше у Герстенберга, чем у меня?

Я колебался.

— Останься со мною, сын мой! — нежно продолжал отец.—Что же я буду делать у Либиха? С матерью я не могу разговаривать: она плохо слышит; Рикхен же—неразумная девченка: только с тобой я и могу поболтать!

Это убедило меня. Если бы отец приказывал мне строго,— я не так бы скоро послушался. Добротой со мной все можно сделать, а мой отец — такой любящий, такой нежный, как немногие из отцов. Иногда, когда он смотрит на меня, в его лице бывает столько отцовской любви, что у меня возникает мысль: он достоин иметь самого послушного сына.

Прежде, чем уезжать, я пошел к Исидору сказать ему, что иду гулять, и чтобы он ждал меня до половины шестого у себя на квартире, так как я, во всяком случае, приду.

Выехав на шоссе, мы направились к Либиху. Там я очень веселился. Когда же мы возвратились домой, отец запретил мне выходить. Я стал шуметь, но ничто не помогало. Тогда я послал к Исидору Эмилию сказать ему,

[1]) Речь идет о драгоценностях, которые старик Лассаль, после супружеской ссоры, отнял у жены и снес в контору, в нижний этаж.

что я не могу притти. Вечером я играл с матерью в экартэ и пикет.

Вторник, 14 Января.

В школе не произошло ничего особенного. Когда я пошел звать отца обедать, мы с Лабандом поссорились. Вот бесстыдный человек! Постоянно он делает какие - нибудь намеки. Я уверен, что Блох передает ему все то, что выдумает Т. и что доходит до меня через сестру. После обеда отец вдруг спросил меня:

— Скажи мне, Фердинанд, что случилось с твоими кондуитами? [1]). Их история мне кажется странной. Уже полгода я не вижу ни одного.

При этих словах мне стало не по себе, но я казался спокойным и ответил наивно:

— Ты, ведь, знаешь, почему не получил в последний и предпоследний раз кондуита.

— Нет, я этому не верю!.. Кондуиты не могут быть взяты учителями неподписанные. Ты знаешь, я буду писать об этом ректору.

Господи!.. Если отец напишет ректору... тогда... бррр... бррр...

Я хотел дать неделю пять зильбергрошей, но дал ему только два с половиной.— Я не понимаю, как это происходит: я играю каждую субботу на биллиарде, что мне строго запретил отец, я подписываю сам мои кондуиты, что тоже не хорошо, и вместе с тем,— я люблю моего отца до экстаза, как только может любить сын. Я с радостью отдал бы за него жизнь, если бы это было необходимо, но вместе с тем... Это происходит от моего легкомыслия. В глубине сердца я добр...

Моя сестра прочла отцу шутку, которую сочинил будто бы Мориц Урбах для девичника Матильды Швейцер. Это— новелла, озаглавленная так: «Фридлендер и Швецерин». Правда, названная новелла во всех отношениях плоха, но она написана таким языком, которого,—клянусь моей

---

[1]) Ведомости с отметками об успехах и поведении в школе.

бородой,— не понять Урбаху во всю свою жизнь, не говоря уже о том, чтобы он сам мог так писать. Он даже прочел моей сестре одну из своих баллад!!!

Великолепно! Этот человек, omnis humanitatis expers[1]), еще хочет писать баллады.

Сначала мне хотелось бы «сказать одно слово этому гению», а там мы увидим, как станет вывертываться этот «творец баллад».

Я прочел продолжение «Духовидца» X. J. Z.

Среда, 15 Января.

После обеда я получил лотерейный билет. Это был № 79886-й.

Вечером я с Самуилом играл на биллиарде у Гессе.

Потом я возвратился домой. Пробило семь, восемь и девять часов. Матери все еще не было. В половине десятого пришел отец. Долгое отсутствие матери беспокоило нас, и мы решили, наконец, идти к Кролю. Дорогой мы говорили о Т. и его отношениях, о том, что я делал за или против него, причем я соблюдал самую строгую справедливость. Матери мы не застали у Кроля и поспешили назад, только зашли к Манатшалю.

Когда мы пришли домой, мать уже возвратилась. Ее уговорил доктор Ш. идти на «Guido und Ginevra»[2]). Ш. говорит, что он послал человека известить нас о том, что мать идет в театр. Сам Ш. сейчас же исчез, как только мать вошла в ложу; он даже не предложил ей ни афиши, ни либретто. Возвратясь через час, он извинился, сказав, что почувствовал себя дурно. В его отсутствие Томас был дамским кавалером, а дамы держались от него еще дальше и оглядывались: не идет ли Ш.

---

[1]) Совершенно неразвитой.

[2]) «Guido und Ginevra» или «Die Pest in Florenz» (Чума во Флоренции) большая опера Скриба, в пяти действиях; музыка Галеви. Была поставлена в Париже в первый раз в 1837 или 1838 году. Для Бреславля она была новинкой. Эта опера часто шла в Германии, но в последнее время сошла с репертуара.

Четверг, 16 Января.

Сегодня я опять не мало перенес в школе. Мы занимались на уроке доктора Тширнера «Одиссеей». Он спросил одного ученика, сидящего вблизи меня, об одном важном грамматическом правиле. Я знал, а он не ответил. Тширнер стал спрашивать других. Почти никто не знал. Я горел от радости. Вопрос должен был дойти и до меня, но в это время ответил сидящий предо мною. Я с досадой взглянул в книгу. В эту минуту Тширнер спросил меня. Конечно, я не мог ответить. Тут Тширнер начал по-своему расправляться со мной. Это, действительно, было ужасно! Кровь бросилась мне в лицо. Да, я плакал и плакал. За самую малость—и так оскорблен, так поруган. Терпение, терпение, придет время.

После обеда я получил от Бамбергера вторую часть романа и отнес ее Керну. Я говорил только со слугой: он сказал мне, что я должен заплатить штраф. Я вовсе не намерен это делать.

На всякий случай вытребовал у Бамбергера четыре гроша.

После обеда, в три часа, я не знал, чем мне заняться, и пошел к Кастнеру играть на биллиарде.

Отец опять был очень нежен со мною; он поцеловал меня и сказал:

— Ах, когда только ты исправишься?!

А я, я играю на билярде ежедневно. Нет, я обещаю совсем не играть по будням, а в субботу и воскресенье по возможности избегать этого.

Пятница, 17 Января.

Перед обедом не произошло ничего особенного. После обеда на уроке французского языка я не писал с другими и, к несчастью, пришел как-раз в то время, когда читали всл̃ух написанное. Я быстро и ловко взял тетрадь у соседа, но этот верблюд действовал так неловко, хотя и с лучшими намерениямы, что Рудигер успел заметить.

Вечером отец неожиданно сказал мне:

— Фердинанд, плохо тебе будет, если ты меня обманываешь. История с кондуитами, во всяком случае, не верна.

С виду я остался спокоен, но каждый мне поверит, как я дрожал. Всю ночь я провел в тревоге.

Суббота, 18 Января.

В 12 часов отец возвратился домой и сказал мне:

— Знаешь, мой сын, теперь я сам верю тому, что на этот раз ты не получил кондуита, как ты мне говорил. Я только что слышал: наш главный раввин Тиктин жаловался на доктора Шенборна, что он заставляет учеников иудейского вероисповедания писать по субботам.

Нельзя описать чувство, которое охватило меня. Я искренно возблагодарил Бога за это случайное совпадение.

Я смекнул, что мне следует воспользоваться этим. Я так и сделал, и, как думаю, с успехом.

После обеда я пошел к Исидору. Сыграл с ним у Кастнера пять партий, из них проиграл три. Оттуда мы пошли к Орланди, а потом к Гессе. Там мы встретили Якобсона, Шлезингера и Гуттентага. Мы играли в два шара. В первый раз я выиграл, а во второй проиграл, но получил свою ставку обратно. Потом я сыграл три партии с Исидором. После этого он пошел на урок танцев, а я остался, играл еще со Шлезингером и проиграл три зильбергроша. Уходя, я заплатил 6 зильбергрошей маркеру и три — С. У Кастнера я заплатил 1½ зильбергроша, у Орланди 3, а выиграл 1½. Summa summarum[1]) проиграл 12 зильбергрошей. Это—слишком.

Возвратясь домой, я играл с матерью в экарте и выиграл 7 зильбергрошей.

С доктором Шиффом я играл в «onze et demi». Сначала я много выиграл, потом опять все проиграл. Мы играли по одному зильбергрошу на очко. Мы собирались прекратить игру, и я хотел спрятать свои деньги, которые не увели-

---

[1]) А всего.

чивались, а все уменьшались, но доктор Шифф отобрал у меня пять зильбергрошей со словами: «Уплати свой долг в экартэ».

Отец, кажется, очень недоволен тем, что я играю по большой.

Воскресенье, 19 Января.

После обеда мы опять поссорились, и виноватой оказалась мать. Она плакала и бранилась без умолку... Говорили о том, что Т. уехал в Россию. Мать на это сказала:

— Ну, теперь здесь обанкротятся некоторые великие люди.

Сказала она это с умыслом.

— Не подразумеваешь ли ты нас? — спросил я.

— Кто знает! — возразила мать.

Вполне естественно, что это разгневало отца. Я стал упрекать мать, она рассердилась и не хотела уплатить мне 18 зильбергрошей. Я не стал просить, преспокойно снял сюртук и положил его возле печки.

— Почему ты не уходишь? — спросила меня мать. Я ответил, что не имею ни гроша денег, а потому не могу никуда идти. Тронутая моими словами, мать сама принесла мне деньги. Я пошел в контору Исидора, но она была уже заперта.

Оттуда я направился к Манатшалю и у него нашел Исидора. Мы пошли в театр, где шел «Lumpaci vagabundus». Там была страшная давка. Меня так жали, как-будто хотели превратить в слоеное тесто.

По окончании пьесы мы с Исидором пошли к Клоссу играть на биллиарде.

В этот день я истратил вот сколько: 2 зильбергроша у Манатшаля, 10 — за билет в театр, 3 пропил у Клосса, из одиннадцати партий на биллиарде заплатил за 6 проигранных, т. е. еще 6 зильбергрошей.

Стало быть 2, да 10, да 3, да 6 зильбергрошей, а всего — 21 зильбергрош; это много, очень много.

Это уж безнравственно.

Понедельник, 20 Января.

Когда я к обеду вернулся домой, мать, встретив меня, сказала:

— Послушай только, как неприлично вел себя вчера доктор Ш. Только что я собралась на вечер, как он пришел и стал говорить: «Я не имею ни малейшей охоты ехать сегодня на вечер; к тому же я не одет!» А потом просит меня позволить ему ехать со мной. Ему просто захотелось поиграть на биллиарде. Когда наступило время ужина, я сказала отцу: не наставляй много на стол, так как я больна и не могу ничего есть. На это он мне ответил, что доктор Ш. здесь и просил уже, чтобы за ужином и для него было место. Ты подумай только, как это невежливо!

Я не нашел, конечно, в этом ничего особенного, но мать была очень раздражена.

После обеда, когда мать была у тетки Бургкейм к нам пришел доктор Ш. Возвратясь домой и узнав, что у нас сидит Ш., мать ни за что не хотела войти, прошла в заднюю комнату и говорила об Ш. всякий вздор. Я заступился за него, мать рассердилась и на меня, и я с трудом ее успокоил. Ш. написал ей письмо, но она не захотела его читать.

Вторник, 21 Января

Вечером у нас опять был Ш. Матери не было. Вернувшись домой и не зная что он у нас, она вошла в комнату, где мы сидели. Ш., желая оправдаться, спросил мать, за что она сердится, и в чем, собственно, его обвиняют.

Но мать уже смягчилась, и стала уверять его, что на него никто не сердится. Тогда я привел несколько обвинительных пунктов. Это рассердило ее, и она позвала отца, который должен был сделать вид, что и он недоволен мной. Большого труда стоило мне успокоить мать.

Среда, 22 Января.

Сегодня в школе у меня все сошло хорошо. Типпнер, мне кажется, с некоторого времени не так преследует меня.

Тем больше я провинился: именно, после обеда я пошел играть с Самуилом на биллиарде, вопреки данному самому себе обещанию не играть. Я был слишком слаб, чтобы устоять против соблазна.

Четверг, 23 Января.

Около часу я должен был идти на свадьбу д-ра Лангендорфа. Написав записку, invito patre [1]), что я должен быть дома в 10 часов, я пошел с ней к Тширнеру, который отослал меня к ректору. Получив разрешение, я тотчас же двинулся к Орланди, а оттуда в парикмахерскую Доминика.

На свадьбу поехали отец, мать, Рикхен и я.

Когда мы вошли в дом, я предоставил Рикхен одной войти в залу, а сам пошел в соседнюю комнату. Я долго оттягивал наступление мучительного момента, когда я должен был поцеловать руку невесты, этой феи. Но он должен же был когда-нибудь наступить. Я вошел в залу. Трубы и литавры отбивали дробь. Хорошо, по крайней мере, что они заглушали мои бесчисленные вздохи, вызванные волнением и походившие на мычание. У меня дрожали и подкашивались ноги. Окружающие могли бы подумать, что я хочу пуститься в пляс. В действительности же я только думал: если бы вошел еще кто-нибудь, я мог бы увильнуть; в то время, как он бы поздравлял, я ушел бы незаметно. Однако, этого не случилось. Неумолимая судьба не хотела помочь мне. Тогда я внушил себе мужество, дал несколько хороших советов на дорогу, вступил в круг, схватил ее руку...

> Da plötzlich nun umdüstert sich mein Sinn,
> Weg war Besonnenheit, Bewusstsein hin.
> Noch heute weiss ich nicht, ob ich und was ich sprach,
> An Worten mir es wohl bei solchem Leid gebrach [2]).

Опомнившись, я увидел себя уже в кругу молодых людей, чему был крайне рад. Среди них был некий Л.,

---

[1]) Против воли отца.

[2]) Тогда внезапно помрачился мой ум.
Сознание и присутствие духа покинули меня.
И теперь я не знаю, говорил-ли я что-нибудь и что именно.
В ту мучительную минуту у меня не нашлось слов.

которого я знал еще по урокам танцев. Это был совершенно простой, глупый еврей-приказчик, надменный, с приказчичьим остроумием и добрым сердцем,—ну, словом, презренный дурак. Я не раз высказывал ему свое мнение о нем, поэтому он питал ко мне вражду и был в полной уверенности, что страшно злит меня, называя меня Лассальчиком или маленьким Лассалем. Осел! Точно он мог смотреть на меня свысока, будь он хоть в три раза больше!

Начали танцовать. Я танцовал много и веселился, так как мне попадались хорошенькие барышни. Мне захотелось пригласить Мильх, которая танцовала с Л. Я подошел к ней. Она уже подала мне руку, как вдруг Л. сказал:

— Нет, моя дама не танцует.— и барышня принуждена была остаться.

— Л.,—сказал я немного громко,—я хочу дать тебе совет: не отвечал, пока тебя не спрашивают. Я спросил бы тебя, когда бы до тебя дошла очередь. На этот раз твое поведение не вызовет никаких последствий, так как я твой друг (Ха! какая ирония!!). Другой прочел бы тебе нотацию. Я знаю, на тебя нельзя обижаться: ты сделал это не по злости, а по недостатку хорошего тона. И хотя всякий это видит, но у тебя могли бы быть неприятности...

— Я сам прекрасно знаю, как мне себя вести,—ответил Л. и поспешил начать танцы, чтобы увильнуть от дальнейшего выговора. Четверть часа спустя я увидел, что он ухаживает за Мильх.

— Л. суетится, как мышь,—сказал я молодому Блоху, которого держал под руку.— Поди и скажи ему это.

Блох пошел и передал ему мои слова в присутствии дам; это вызвало громкий смех. Л. побледнел и, заикаясь, сказал:

— Ты дурак.

Теперь мне легко было так натравить Блоха на Л., чтобы жизнь ему стала в тягость, и он проклинал ее.

Я увидел: Л. сидел с Самош. Вынув спокойно записную книжку, я начал рисовать.

— Что ты делаешь?— спросил меня Блох.

— Хочу изобразить жалкое, несчастное выражение физиономии Л.,— ответил я, смеясь.

— Что же, удалось тебе?

— Пока еще—нет.

— Нарисуй ослиную голову, и дело сделано.

Гомерический хохот со всех сторон. Л. вскочил раздраженный. Я подсел к Самош и говорил об Л., что он совершенно побит.

Сели за стол. Я с Бертой Мунстерберг сели возле Л. Последний, усаживаясь, придавил стулом платье моей дамы.

— Милостивый государь,—сказала она,—привстаньте: вы рвете мое платье.

— Л.,—начал я:—я дам тебе урок: учтивость требует не рвать платья дамы, садясь за стол.

Л., плача, вскочил со стула и прислал ко мне своего кузена с просьбой прекратить эти преследования.

Суббота, 25 Января.

После обеда я пошел к Исидору. Он был дома. Он ужаснейшим образом надоедал мне чтением писем к своему дяде Герстенбергу в Гамбурге, которого я вовсе не знал. С Нейманом и Ярецким, которые были у него, я пошел к Гессе. Вечером туда пришел и Якобсон. Я всегда радуюсь, видя его там; это дает мне право говорить: вот прилежный малый, и, однако же, он по целым дням играет на бильярде. Я рано вернулся домой. Матери и отца не было дома. Я уселся и стал читать. Пришел отец. Он очень обрадовался, застав меня дома, и взял с собой к Ульманам, у которых была мать. Там он подарил мне 3 зильбергроша, которые выиграл у господина Ульмана.

Понедельник, 27 Января.

Вчера я был у Урбахов. Там узнал, что д-р Шифф, сказавший нам, что уезжает, еще здесь. Он поселился у Саулей, которым очень надоедает. Я заметил, что молодой Урбах, мадам П. и фрейлейн Р. хотят посплетничать, и расстроил им это удовольствие. Я не защищал д-ра Ш., но

и не позволял обвинять его. Я высказался в его пользу, но не с горячностью, как если бы я хотел защищать его, а в предположении, что это само собой разумеется, и что Урбахи согласны со мной в том, что они должны молчать.

Мне захотелось прижать к стене «сочинителя баллад». Я заставил его продекламировать «Berengar'a». Случайно я заметил подзаголовок: «Романс».

— Я никак не могу назвать это романсом!

— Видите ли,—сказал он,—я хотел расширить этот сюжет в новеллу, и в нее должно было войти это стихотворение.

— И, все-таки, это не было бы романсом?—спросил я и продолжал: — Что собственно вы называете романсом.

И господин Урбах дал мне удивительное объяснение:

— Романс—это, когда я выражаю свои чувства.

— Совсем нет! По моему мнению, чувства выражает лирика Таким образом, вы и стихотворения Шиллера считаете романсами?

— Нет, — ответил он, — «Bürgschaft», «Glocke», это— баллады.

— Но, Бог мой! «Glocke», ведь, дидактическое стихотворение.

Словом, он все больше и больше путался.

Впрочем, я совсем не верю, чтобы это сносное стихотворение принадлежало ему. Его, так называемая, драма: «Wahnsinn aus Verbrechen», которая представляет какой-то бессмысленный винигрет, не есть произведение его ума, если только так можно выразиться, не оскверняя слова— «ум».

Вторник, 28 Января.

После обеда пришла моя очередь отвечать наизусть Цицерона, и я уже заранее радовался этому. Но Тиширнеру вздумалось грубо закричать на меня.

Я один раз сказал «sed» вместо «at», на что он неодобрительно покачал головой; когда я потом сказал «nam» вместо «enim», при чем сейчас же поправился, он заметил:

— Очень плохо!

Далее я отвечал уже с раздражением.

Ошибки, за которые других он никогда не упрекал, мне он ставил в преступление, хотя я всегда тотчас же поправлялся

Когда я дошел до места: et liberos tuos nepotes Q. Fadii и пр., Тширнер поправил: Cigii Fadii. «Quinti!»—повторил я с ударением и подчеркиванием, так как знал, что говорю верно. Он сжал губы (это означало, что он взбешен) и заставил меня замолчать, сказав:

— Плохо, очень плохо!

Тут меня охватила неудержимая злоба. Я плакал, потому что это была неслыханная несправедливость: это признали все присутствовавшие.

В этот момент я готов был выпить всю кровь из Тширнера!

Среда, 29 Января.

Мать купила мне фуражку. Хорошо!

После обеда я хотел переменить «невыразимые»[1]. Но на новых не было ни одной пуговицы. Из-за этого поднялась суматоха. Ни у кого не нашлось времени пришить их. Отец приказал мне снять новые и надеть старые.

— Я не допускаю,—сказал он,—чтобы ты был тщеславен.

— Ах,—возразил я, негодуя,—и те, и другие,—одинаковое тряпье.

Отец за это страшно рассердился, слегка прибил меня и запретил мне плакать. Каждое мое слово вызывало в нем новые припадки гнева.

— Я не позволю себя так бить,—твердил я, заливаясь слезами. Это еще больше взбесило его. Он бросился на меня и прибил еще сильней. Это сразу прекратило мой плач. Я вытер слезы и насмешливо смотрел на него.

Я был так бледен, что испугался самого себя. На все, что он говорил мне, я отвечал только вызывающей улыб-

---

[1] Т.-е. брюки.

кой. В раздражении отец хотел ударить меня по лицу, но удержался.

Я спокойно оделся и, сказав, что должен быть у Гиллера, вышел с твердым намерением броситься в Олэ[1])

Дойдя до набережной, я остановился, обдумывая, как это лучше сделать.

— Ты спускаешься по ступенькам,— сказал я себе.— Когда ступишь уже на последнюю, спусти одну ногу в воду, потом подними другую. Разумеется, ты упадешь и будешь свободен.

Здесь я вспомнил о матери, а также и об отце. Все-таки я решительно спустился по лестнице, так как возбуждение мое было слишком сильно.

Вдруг я услышал окрик:

— Фердинанд!

Я обернулся. Позади стоял отец; он был бледнее меня.

— Что ты здесь делаешь?

— Смотрю на паром.

— Ты не пойдешь на урок: иди в контору.

Я последовал за ним. Я сел на софу и уже через полчаса думал о том, как несправедливо я поступил, какое ужасное намерение охватило меня и какой страх я причинил отцу. Что он понял мое намерение, это показывала его бледность, его запрещение идти на урок (он, вероятно, хотел дать мне время успокоиться) и то, что он, после, три раза поднимался наверх, чтобы убедиться, там ли я.

— Боже! — думал я. — Какое горе я причинил бы родителям, если бы лишил себя жизни. У! Я содрогаюсь.

Однако, я совсем не хотел сегодня делать что-либо дурное. Поэтому я пошел к Самуилу с предложением поиграть на биллиарде. Он не согласился, так как держал пари с своим отцом на $2^1/_3$ талера, что не будет играть до 1 марта;—но обещал придти ко мне. Вечером он пришел, и мы играли в «onze-et-demi» с переменным счастьем. Наконец, я проиграл ему один талер и девять зильбергрошей. Я поставил один талер. Выиграл Самуил. Он всегда страшно сердился, если я проигрывал, и на этот раз ничего не же-

---

[1]) В

лал так сильно, как возвратить мне эти два талера. Я поставил два талера 9 зильбергрошей и выиграл: Мы были квиты. Четыре зильбергроша, которые Самуил проиграл перед этим, он выиграл обратно. Лицо его, омрачившееся, когда он выиграл два талера, теперь светилось радостью. Я долго убеждал его, что мог бы заплатить ему эти два талера. Но я слишком хорошо знал Самуила, чтобы думать, что он возьмет их. Ему было бы противно брать у меня деньги, и, вместе с тем, он не хотел оскорблять меня отказом взять их. Поэтому такой выход был для него самым желательным.

Четверг, 30 Января.

Баршаль очень болен.

Я говорил Рикхен о ее замужестве и убеждал ее выкинуть из головы Фердинанда. Клянусь Богом! Это, как я все более убеждаюсь, очень плохая партия, и Рикхен через три года после свадьбы почувствовала бы себя несчастной. Мне удалось расположить ее в пользу д-ра Фр. Затем я пошел к матери—там была и Рикхен—и сказал ей, что сестра хочет выйти за Фр. Мы еще много говорили об этом.

NB. Кёлер согласился обменять на мои часы свои с придачей одного талера. Я выпросил его часы, чтобы снести их к часовому мастеру. Если починка—его часы не ходят — будет стоить больше талера,—сказал я,—то наша сделка не состоится. Часовой мастер запросил 10 зильбергрошей, и я оставил у него часы.

Пятница, 31 Января.

Баршаль умер.

Кёлеру я сказал, что сделка наша не может состояться, так как починка стоит слишком дорого. Он обещал, а я знаю Кёлера и могу положиться на его слова: он даст мне в воскресенье 1 талер и 1 марта еще 12 грошей.

Когда я вернулся домой, мы опять говорили о Фердинанде. Фридерика защищала его сегодня горячее. Я сде-

лал ошибку, что уж очень решительно выступил против него. У Фредерики такой характер, что открытое сопротивление только укрепляет ее в ее мнении. Я переменю тактику, стану на их сторону, признаю ее правой и не буду ей противоречить, и все же незаметно отвлеку ее от него.

Суббота, 1 Февраля.

Отец хотел, чтобы я возвратился домой к 10 часам,— чтобы послушать проповедь Гейгера. Но я отложил это до следующей субботы, так как тогда у нас будут частные уроки.

Кёлер принес мне талер. Он совершенно доволен своей покупкой и называет меня дураком. Тширнер сказал, что некоторые не внесли еще платы за ученье; я выложил один талер 4 гроша, но расписки не получил.

Возвратясь домой, я узнал, что уже был проповедник и говорил необыкновенно хорошо. Мне было очень неприятно, что я не мог его послушать, и я решил не пропускать ни одной проповеди.

После обеда я пошел к Исидору.

От моего дуката осталось только 10 зильбергрошей. Это ужасно! 12 января я вышел в первый раз. Тогда я имел 5 талеров 18 зильбергрошей. Если считать 16 грошей за Одиссею, 5 зильбергрошей за Крамера, 10 Исидору (уплата долга), то с 12 по 31 января я издержал 4 талера 13 зильбергрошей. 10 зильбергрошей, которые у меня еще оставались, я издержал как-раз сегодня.

В половине девятого я вернулся домой. Побранился с Рикхен, играл с матерью в экартэ, получил от отца половину долга,—id est [1]) мне уплачено 6 грошей.—и лег спать.

Воскресенье, 2 Февраля.

Сегодня хоронят Баршаля. В половине девятого я пошел с матерью к его несчастной вдове. Она сидела на софе

---

[1]) То-есть.

и плакала. Меня тронул вид Вильгельма, который, наполовину понимая свою потерю, учил кадиш. Мы прошли в другую комнату, где лежали останки так рано погибшего. Присутствующие, разбившись на группы, говорили об этой печальной смерти. Учитель подвел Вильгельма к покойнику.

— Смотри,— тихо сказал он плакавшему мальчику,— вот лежит твой отец. Ты его никогда больше не увидишь здесь. Обещай мне быть добрым сыном твоей матери, которая заменит тебе отца, и слушаться ее во всем.

Маленький Вильгельм доверчиво пожал протянутую ему руку. У меня глаза наполнились слезами, и я отвернулся.

Тело положили в ящик [1]), закрыли и подняли, чтобы снести вниз. В это время его несчастная вдова бросилась из своей комнаты с громким криком: «мой муж, добрый, добрый муж!» Она кричала таким полным отчаяния голосом, что все присутствовавшие начали плакать. Лишь с большим трудом удалось удержаться. С громким криком она упала на руки женщин, и еще долго потом слышались ее судорожные рыдания.

Дорогой я разговаривал с Блохом. Он принял важный вид и назвал себя атеистом. Но, увидя, что я держусь другого мнения, он тотчас же переменил свою позицию. Мы говорили много о переселении душ, о Гейгере, о евреях и он удивлялся, что я так предан иудейской религии. Осел! как будто нельзя есть «нечистое» [1]) и быть хорошим евреем.

[1]) Евреев тогда хоронили не в гробах, а, как в данном случае клали дома в ящики и оттуда перевозили на место погребения въ совершенно закрытых траурных колесницах. После ритуального очищения тело опускали в землю между несколоченными досками и зарывали. Кадишем, или кадошем (пишется также кидуш) у евреев называется заключительная молитва религиозной церемонии. Всем известны стихи Гейне:

Keine Messe wird man singen,
Keinen Kadosch wird man sagen.
Nichts gesagt und nichts gesungen
Wird an meinen Sterbetagen.

Т.-е.:

Панихид но мне не справят,
Не прочтут молитв прощальных;
Как умру, меня оставят
Без обрядов погребальных.

[1]) Treife по еврейскому ритуалу — нечистое, в противоположность Koscher — чистому.

Я сказал ему это. В самом деле, я считаю себя одним из лучших евреев, хотя и не признаю обрядовых сторон. Я мог бы, как еврей в «Leila» Бульвера, пожертвовать жизнью, чтобы вырвать евреев из их нынешнего тягостного положения.

Я не побоялся бы даже эшафота, если бы только можно было этим снова сделать евреев уважаемым народом. О, когда я предаюсь своим детским грезам, мной овладевает моя излюбленная идея—стать во главе евреев с оружием в руках и сделать их самостоятельным народом.

Мы дошли до кладбища. Как ужасен был Баршаль! Глубоко потрясенный его видом, я удалился на могилу моей сестры, так рано погибшей. Sic fata volunt [1]).

Погребение кончилось, и я пошел обратно. Давно уже я не был так печален. Только дома мне удалось отогнать мрачные мысли.

После обеда я читал отцу «Духовидца». Затем я хотел уйти, но отец не позволил.

— Тебя и вчера также долго не было,—сказал он.—Куда ты теперь идешь?

— Гулять,— ответил я.

— Ну, так и я пойду с тобой, мой милый сын. Хочешь к Либиху или в Клейнбург? Или, может быть, хочешь посмотреть кита?

Я был тронут, тем более, что, как я видел, отец мой был прав. Ему следовало бы только раньше предложить это. Однако, я не настаивал на своей просьбе.

Отец отпустил меня, но только до 5 часов. И я не пошел бы, если бы не пришел Бауэр. С ним я отправился к Гессе. Из 6 партий я проиграл одну. Потом я сыграл 6 партий с Литтауэром. Он дал мне 30 очков вперед. Три партии я проиграл и три выиграл.

Дома я нашел Дорхен Фридлендер, которая мне порядком надоела.

Она мешала мне играть с матерью в экартэ, и так как я был не в духе, то она почти все время ссорилась со мной. Только около девяти с половиной я сыграл с матерью в

---

[1]) Так судьбе угодно.

экартэ, и она проиграла 2 зильбергроша. Затем со мной сел играть отец и проиграл 4 зильбергроша.

Понедельник, 3 Февраля.

В субботу я обменял у Гана моего Цумпта [1]) на старое его издание, при чем он обещал ссудить меня переводом Цицерона с сегодняшнего дня до субботы. Цумпта я получил, а о переводе он забыл.

В течение нескольких дней я икал так часто и так сильно,—иногда по целым часам с незначительными промежутками,—что отец послал меня к Гуттентагу, который мне что-то прописал. Около трех я пошел к Самуилу; он настаивал, чтобы я дал ему обещание—с 1 марта не играть на биллиарде; Фридлендер, Гирш и он сам уже дали такой зарок.

Этого я не мог сделать.

Возвращаясь от Самуила, около своего дома я так сильно упал, что у меня тотчас же потекла кровь из носу и изо рта. Какой-то человек поднял меня и, так-как я едва мог стоять на ногах, снес меня в контору к отцу. Испуг отца не поддается никакому описанию. Узнав, что матери нет дома, он снес меня наверх и стал прикладывать мне холодные компрессы. Весь мой нос и рот ужасно распухли, кожа всюду была содрана; это причиняло мне нестерпимую боль. Отец беспрестанно спрашивал, где у меня болит. Добрый отец! он почти плакал.

Он запретил мне идти к Гиллеру, но я пошел, потому что уже пропустил несколько уроков. После я пожалел об этом, так как Гиллер сказал мне, что если хотя малейший ветерок попадет на опухоль, то она останется на всю жизнь. Мысль об этом причинила мне некоторую неприятность. Дорогой я встретил Исидора: он ужаснулся моего вида и высказал много участия ко мне.

Придя домой, я рассказал матери, которая еще ничего не знала о моем страшном приключении; она была немало

---

[1]) Известная въ то время латинская грамматика.

перепугана. Вечером отец привел Петцольда, который назначил мне компрессы с уксусом.

Я очень, очень боюсь, чтобы мой нос не остался таким enflé[1]); особенно меня этим пугает сестра. Если это так окажется, мое личико будет испорчено. Но я думаю, что, в конце концов, не очень буду сокрушаться этим.

Но я наверное знаю, что я избегал бы дамского общества, если бы, при взгляде на меня, у каждой являлась мысль: «сколько бы ты имел побед, не будь этого проклятого случая».

Я ограничился бы мужским обществом, таким же легкомысленным, как и я, и перестал бы обращать внимание на свой нос. Тогда я приобрел бы известную грубость, как это бывает со всяким, кто не вращается в дамском обществе.

Вторник, 4 Февраля.

Рано утром отец послал меня к д-ру Гуттентагу спросить, можно ли мне выходить. Он так же, как и Петцольд, который был у него, строго запретил мне это. Не знаю, радоваться мне или злиться. До субботы мы должны сдать домашние работы, которых я не могу теперь готовить дома, так как потерял вторую часть Гомера, и затем в субботу — Цицерона и Ксенофонта. Сегодня я должен был получить от Кёлера перевод Ксенофонта и от Гана перевод Цицерона, но я не хожу теперь в школу. Если я пропущу также и субботу, чтобы пойти на проповедь, то в понедельник Тширнер заставит меня переводить и потребует у меня тетрадь. Поэтому я написал трогательное письмо Кёлеру, в котором просил его занести мне, к 12, его перевод Ксенофонта и перевод Цицерона, Гана. Потом я писал ему, чтобы он обратился в старшее отделение III класса к Гинцбургу, который даст ему для меня Гомера. Гинцбург уже ссужал меня им в прошлый раз. И вот — этот плутишка совсем не пришел.

---

[1]) Распухшим.

После обеда я читал «Демокрита» Карла Юлиуса Вебера. Действительно, превосходная книга. Потом играл с матерью в экартэ и выиграл 5 зильбергрошей. Д-р Гуттентаг уверил меня, что от моей опухоли не останется и следа и запретил мне выходить.

Вечером мой добрый отец не позволил мне спать наверху, в холоде, и уложил меня с собой в свою постель.

Среда, 5 Февраля.

Я позабыл записать, что вчера Рикхен пришло письмо от Фердинанда: мне она совсем его не показала, а матери показала позже. После я нашел это письмо и мог бы его прочесть, но не сделал этого, потому что догадывался о его содержании.

— Я, все-таки, выйду за Фердинанда,—сказала Рикхен отцу недовольным, испытующим тоном, прочтя письмо, которое он ей принес.

— Дурочка,— засмеялся отец,— ты думаешь, если он пишет тебе нежные письма, так ты должна выйти за него? Бумага все стерпит, а в Париже учатся делать комплименты.

Я подтолкнул мать, и она пустилась в подробные объяснения и упомянула, что даже и я, который раньше был за этот союз, теперь против него.

— Ты также думаешь, голубчик, что из этого ничего не выйдет?— спросил отец, подойдя ко мне.

— Почему ты никогда не поговоришь с отцом?— тотчас же спросила меня мать.

— Потому что мне не подобает говорить об этом с отцом. Если бы отец захотел поговорить со мной, я высказал бы ему определенно свое мнение.

Отец промолчал на это и вскоре вышел.

Мать и Рикхен много еще говорили со мной на эту тему.

— Я могла бы выйти за Фердинанда,—сказала мне Рикхен.— но ты меня так пугаешь тем, что я буду тогда жить, как жена секретаря...

— Хуже, еще хуже! Милая сестра,— прибавил я доверчивым тоном:— поверь мне, ты будешь очень не-

счастна, если пойдешь за него. Ты о нем не имеешь никакого понятия.

Рикхен стала задумчива и печальна.

Теперь мать выступила с большей уверенностью: она видела, что и отец не стоит за это так, как ей всегда думалось и как уверяла ее Рикхен. Но я, с своей стороны, убеждал мать, что она обманывается относительно отца. Это было вчера.

Сегодня пришел дядя Фридлендер узнать, что Фердинанд пишет Рикхен, и попросил Рикхен приготовить ответ.

Вечером было много разговоров по этому поводу. Мать советовала совсем ничего не писать в виду того, что если Рикхен опять напишет в любовном тоне, то он может подумать, что все идет по старому. Я же настаивал, что если Фердинанд совсем не получит письма, то припишет это посторонним причинам, будет только догадываться, но не будет знать ничего определенного.

— Итак, что же делать?— спросила мать.

— Письмо нужно написать, но его содержание должно показать, что Рикхен не может быть женой Фердинанда.

Мать согласилась со мной.

— Что же я буду делать с дядей Фридлендером?—спросила Рикхен.— Если он придет завтра, то я передам ему все, что говорили вы и отец, и скажу ему, что ничего из этого не выйдет.

(Мелодия: «Alle, Alle, Rachel ist kein' Kalle. Nossen ist kein Chossen» и пр., и пр.) [1]).

— Сделай так,—сказала мать,— но прежде поговори с отцом и узнай его мнение.

Я покачал головой.

— А ты что думаешь?—спросила мать.

— Я думаю, что отец не выскажет своего мнения Рикхен; но, все-таки, она должна рассказать об этом Абеллино.

Мое предсказание сбылось. Отец ничего не ответил Рикхен. Когда на другой день пришел дядя Фридлендер и спросил, написано ли письмо, она не дала ему определенного ответа, ссылаясь на недостаток времени.

---

[1]) Дело кончено, Рахиль больше не невеста и Натан не жених.

— Фердинанд кланяется тебе в письме,— обратилась ко мне Рикхен.— Он не знает, как ты по отношению к нему переменился. У тебя, вероятно, есть основание, — так скажи мне.

Правду говоря, я сам не знаю, как так я переменился,— я, так твердо придерживающийся раз сложившегося мнения и не отличающийся нерешительностью. Не внешние впечатления были причиной этого. Никто не настраивал меня против него; да я—и не из тех, убеждения которых складываются под давлением чужого авторитета. Это — известное je ne sais quoi.

> Mir ist das Herz verwandelt und gewendet,
> Es flieht vor diesem Ferdinand zurück [1].

Правда, если бы я хоть на каплю верил, что из этой партии что-нибудь да выйдет, я не был бы против нее. Но я крепко уверен, что Рикхен будет несчастлива, потому что зависимость, в которую она попадет, будет для нее слишком тягостна, а нужда слишком гнетуща. К тому же я хорошо знаю Рикхен, и слишком уверен, что из этой партии ничего не выйдет.

Четверг, 6 Февраля.

Рано утром мы опять возвратились к нашей старой, избитой теме о Рикхен и Фердинанде (Мелодия: Эдуард и Кунигунда). Рикхен сказала, между прочим:

— Если я не выйду за Фердинанда, то, все-таки, не пойду за первого встречного. Для меня нет партии.

Я тотчас же на это возразил:

— Так выходи за Л.. из Иновраплава.

Я не знаю, упоминал ли я уже о нем; если нет, то— к делу.

Он — родственник madame Пайерль, молодой человек, говорит на четырех языках, из очень богатой фамилии, имеет собственных 30—40.000 талеров; значит — может поселиться с этим nervus rerum, где ему угодно: ищет жену

---

[1] Мои чувства к Фердинанду совершенно изменились: мое сердце отвернулось от него.

15.000 талеров. Так как, по святой библии, жена—половина мужа, то она должна иметь и половину его имущества,—но если она красива и образованна, то достаточно 10.000. Madame Найерль хочет познакомить его с отцом во Франкфурте и потом уже привезти его сюда.

— Л.,— возразила мать,— захочет, по меньшей мере, 8.000 талеров, которых отец не даст.

— Не даст?

— Нет: хорошо, если он даст 6.000 талеров. Самое меньшее—он даст 5.000; если же 6.000, то ему придется туго. Но если тот хочет 8.000, то я могу продать свои бриллианты. За них я получу 2.000.

— Существует ли на свете еще такая мать?—спрашиваю я.—Нет! Нет! Нет! Но я справедливо рассердился и напомнил матери стихи о франкфуртских воротах [1]).

Отец пришел домой поздно вечером.

Мать и Рикхен после обеда сильно побранились, и сестра в пять часов уже легла в постель.

Мать пожаловалась отцу.

— Ах! — вздохнул он,—печальна участь быть судьей жены и дочери, матери и ребенка. Сын мой,—продолжал он, подав мне руку, ходя со мной взад и вперед,—сын мой, я не ханжа, ты это знаешь; но поверь мне, самое лучшее—положиться на Бога, как говорит наше святое писание: «предоставь свои желания Господу, и Он позаботится о тебе». Смотри: я пережил печальные, печальные годы и все еще благодарю Бога, что Он ниспосылает мне силы не отчаиваться. Ты не знаешь, каким несчастным я чувствую себя. Рикхен так упряма в своей несчастной привязанности, что нечего думать о скорейшем разрешении этого. Здесь, в Бреславле, все это прекрасно знают и ни один приличный молодой человек не женится на девушке, ко-

---

[1]) Лассаль подразумевает здесь изречение, написанное на дубинах, которые были привешены к некоторым городским воротам в Северной Германии:

Wer seinen Kindern giebt das Brot
Und leidet nachmals selber Noth,
Den soll man schlagen mit der Keile todt.

Т. е. кто отдает своим детям хлеб и после сам терпит нужду, того следует убить этой дубиной.

торая любила и любит другого. Я не надеюсь также на ее брак с кем-либо из другого города, так как всякий, приехав сюда с этим намерением, тотчас же узнал бы обо всем. Итак, нечего думать о какой-либо партии, пока длится эта любовь. Раньше я думал позаботиться о приличных связях при помощи тех качеств, которыми обладает Рикхен, и моего положения. Но я не нашел никакого выхода и положился тогда на Бога. Я имел твердую уверенность, что Он все направит к лучшему. Он внушил мне также идею всегда быть против этого брака. Поверь мне, всей человеческой мудрости здесь недостаточно.

Так говорил мой почтенный отец.

Суббота, 8 Февраля.

Я решил сегодня, несмотря на просьбы матери, идти на проповедь.

Когда мы одевались, пришел Браун из Глатца; он очень уговаривал мать ехать с наступлением лета в Грефенберг.

Мы вошли в храм. Гейгер только что взошел на кафедру и после короткой молитвы про себя, произнес умилительным тоном слова текста: «Господи, если мы предпринимаем сооружение, и Ты не благословишь его, что тогда будет с ним!» и т. д., и объяснил, что это касается всякого строительства, как внешнего, так и того, которое предпринимается внутри нас. «Внутри вас вы должны строить храм Господний». Затем он привел слова писания: «Это стол Господа»... «Если вы честно добываете свой хлеб, то можете сказать: это стол Господа; но если ваша пища обагрена кровью тех, кого вы угнетаете, если в вашем напитке—слезы вдов и сирот, которые имеют право жаловаться на вас, то как вы хотите предстать пред Господом и благодарить Его за то, что Он вам дал, и что вы отняли у Его созданий».

При этих словах я взглянул на некоторых знакомых.

Затем он коснулся того положения, что ученые и мудрецы не должны хвастаться своими знаниями. В писании сказано, что они должны положить на них покрышку.

«Однако, милые друзья, вы должны проявить свои знания во-вне, в своих поступках. По вашим поступкам узнается великолепие ваших знаний». Между прочим, он предостерегал от пресыщения жизнью. «Часто иным людям кажется, что в этой жизни нет ничего высшего: они видят, что одни умирают в бедности, другие живут в роскоши, и говорят: ах! высшего в жизни нет ничего! Но, милые друзья, если солнце не светит, то это не потому, что оно потеряло свой блеск, а просто потому, что облака на мгновение не пропускают его лучей на землю».

Одним словом, Гейгер произвел на меня сильное впечатление, хотя говорили, что эта проповедь далеко уступала прежним.

После обеда я пошел к Исидору. Он очень сожалел о моем носе. Мы с ним пошли к Гессе. Сегодня мне замечательно не везло—я проиграл 7 зильбегрошей. После Исидор пошел на урок танцев, я к Манатшалю, а оттуда домой. Мы играли в пикет, и мать не могла выиграть ни одной партии.

Понедельник, 10 Февраля.

Когда я возвратился домой из школы, между матерью и Рикхен опять произошла, ради разнообразия, ссора; обе при этом ужасно плакали. К обеду пришел отец. Мать при нем опять начала плакать; это раздражало и злило его, и он не съел ни куска. Я уговаривал их, как только мог, признавал ту и другую, мать и Рикхен, правой и неправой, так что они немного примирились. Вечером, придя домой, отец сначала не хотел есть, но мне удалось уговорить его.

Вторник, 11 Февраля.

Сегодня отец принес мне программы лейпцигского и гамбургского институтов. Я прочел ему обе, но он не высказался ни за ту, ни за другую. Гамбургский институт кажется мне более практическим, чем лейпцигский, который больше походит на школу. Влечет меня в Гамбург и

то еще,—что этот город больше и красивее, и в отношении личной жизни там не так стеснены и подчинены надзору, как в Лейпциге. Но, если я поеду в Гамбург, то только в июне, потому что только тогда у отца будет свободное время.

Среда, 12 Февраля.

Сегодня я пошел к портному Вольфу и спросил есть ли у него костюм амура. Он ответил утвердительно, сказал мне цену (два талера) и записал костюм на четверг

Когда я вернулся домой, Рикхен рассказала об этом матери. и мать хотела взять обратно свое обещание дать мне талер. Она обещала его мне вчера на свадебный подарок или на костюм. Это привело к маленькому препирательству, и я сказал, что также поставлю на своем и без костюма и подарка не пойду

Четверг, 13 Февраля.

Я написал в школе стихи для девичника. Возвращаясь домой, усиленными просьбами я добился позволения идти в костюме амура. Отец позволил, но не дал денег. а мать подарила один талер. Вечером я написал стихи для Рикхен, которая будет в костюме фортуны.

Пятница, 14 Февраля.

После обеда, в 4 часа. я принес костюм и нашел, что он мне очень идет.

Суббота, 15 Февраля.

Я ходил на проповедь Гейгера. После обеда надел свой костюм. Мы очень долго поджидали Клингенбергов. Они не пришли, и мы должны были поехать без них. На девичнике я много веселился, особенно этому помог мой костюм амура. Брат Брайнердорфа (Шпакерль) был также в костюме

амура. Мужчины и дамы уверяли меня, что я выгляжу лучше, чем он. Особенно усердно я любезничал с Эммой Прагер, которую я дразнил Морисом Леви.

Очень забавляло меня соревнование со Шпанерлем, к которому я дружески присоединился и стал даже с ним на ты.

— Слушайте, Лассаль,—сказал он:—вы странно коварный плут, но прекрасный и остроумный малый не по летам. Будь вы пятью годами старше, с вами не ужился бы целый свет.

Что же касается моего мнения о Шпанерле, то я нахожу, что он остроумен, хорошо говорит по-французски и притом еще имеет серьезное образование, так как окончил уже гимназию.

Воскресенье, 16 Февраля.

Мы поехали на свадьбу. Генигер, olim [1]) Бахус, Бэда, вчерашний Аполлон, и я,—развлекались, собравшись в кружок во время скучного ожидания проповеди. Гейгер произнес очень трогательную речь.

Потом мы пили кофе и ели, причем я шутил над прожорливостью Генигера и Бэды, Шпанорля и Шлохова. Затем до обеда мы бегали по галлереям. Составилась новая компания из шести молодых людей во главе со Шпанерлем и без дам. Я присоединился к ним. Шпанерль, Вентцель и еще третий incognito [2]) вздумали споить меня, но я вспомнил Крапинтц и остерегался. Вентцель признал, что я не знаю правил попойки и я был присужден—пить полными стаканами. Я это исполнял, но при этом пил столько же стаканов воды, прохаживался в соседней комнате и остерегался, как в Крапинтце, смешивать сладкое вино с кислым. Вентцель выражал мне свое удивление, что я не опьянел. В 4 часа мы вернулись домой.

---

[1]) Некогда.

[2]) Неизвестный.

Понедельник, 17 Февраля.

Около 8 часов Герстенберг принес мне мое немецкое сочинение.

В субботу я сказал ему, что у меня на все воскресенье хватит этой работы, но она мне не удается

Он тотчас же предложил сделать ее за меня. Но это не подходило, так как работа касалась Филиппик. Я дал ему в воскресенье свой черновик, и славный малый принес мне его теперь переписанным на-бело.

В школе я весь день спал.

Свадьба обошлась мне очень дорого. В прошлое воскресенье у меня был 1 талер 18 зильбергрошей: 1 талер от Кёлера и 18 зильбергрошей от матери. Теперь у меня осталось только 10 зильбергрошей, и из них я должен отдать 7½ сестре. Это—ни то, ни се, и мне хочется отдать их как можно скорее и затем окончательно сесть на мель. Male parta, male delabuntur [1]).

Среда, 19 Февраля.

Я издержал все деньги и теперь у меня—«даллес» [2]). Отец спросил меня: правда ли, будто я где-то говорил, что «мой отец не выдаст своей единственной дочери за парижанина с пустым карманом»? Я не знаю, кто выдумал эту постыдную ложь; отец слышал это от дяди Фридлендера.

Четверг, 20 Февраля.

Сегодня я сказал отцу, что свадьба стоила мне один талер 4 гроша и просил дать мне сколько-нибудь денег. Но просьбы мои были тщетны.

Тогда я попросил десять зильбергрошей для уплаты часовому мастеру. Отец не поверил, думая, что эти деньги я прошу для себя. После этого я просил дать мне 14 зильбергрошей карманных денег, на которые я имел право. Он не дал мне ничего, рассердился, сильно кричал на меня и при-

---

[1]) Не хорошо досталось,—так и ушло.
[2]) Даллес, еврейское слово, значит: безденежье.

казал молчать, хотя я и уверял его, что у меня нет ни гроша. Наконец, я решил снести моего Боста и Августа к антикварию. За них я получил 16 зильбергрошей

Пятница, 21 Февраля.

В школе я узнал, что Ширнер написал мне: «старый». Это меня очень огорчило. Со времени последней проверки я прилагал все усилия и был очень исполнителен: относясь к себе совершенно беспристрастно, могу сказать, что это несправедливо. Я пустился в рассуждение. Я обдумывал, как это могло случиться, что какой-нибудь Генинг или Прейзер, которые, я должен сказать, уступают мне в способностях, понимании, гении, силе суждения и уме—и еще в такой мере!—получают хорошие отметки, а я не могу добиться этого. Я думал: как это так, что какой-то Вольгейм, который, хотя и умен, но также ленив, как и я, сидит на первой скамье, а я на четвертой?

Кёлер сказал мне во время урока:

— Знаешь, Лассаль, я часто думаю о нас обоих, и поверь мне, мы оба не годимся для гимназии.

И, en verité, я мог придти только к следующему заключению:

Hic sum barbarus quia non intelligor illis [1]).

Суббота, 22 Февраля.

После обеда я пошел к Доминику причесаться, так как мы были приглашены к Леви на чай. Когда я вернулся домой, родители были уже одеты, и отец встретил меня пощечиной, так как мое продолжительное отсутствие раздражило его; мать была испугана. Несмотря на это, я был еще рад тому, что отец не подозревал, где я был. У Леви мне было очень весело. Особенно были хороши картины и стихи Эммануила. Я ел и пил, насколько было возможно, но со времени истории в Краппице я остерегался невоздержности.

[1]) Barbarus hic ego sum etc. Ovid. Tristia lib. V. X. 35. Здесь меня считают варваром, потому что не понимают меня

Понедельник, 25 Февраля.

В школе сегодня произошло со мной много забавного, и впродолжение двух уроков я сделал много наблюдений. По обыкновению, я пришел в школу без латинской и греческой работы, которые вот уже полгода, как я готовлю на уроках Кёхера и Рудигера. Я на самом себе испытал, что только может сделать несправедливость. Когда я поступил во второй класс, я был, действительно, прилежен и старателен.

После пробной письменной работы все беспристрастные ученики моего класса уверяли меня, что я буду первым или вторым из вновь поступивших, даже мои враги говорили, что я поднимусь до четвертого или пятого. Я вспоминаю, что меня привела в величайшее изумление леность моего соседа, когда я однажды увидел, как он приготовлял свою работу на уроке, предшествовавшем латинскому. Приготовлять на уроке посторонние работы — в этом нет ничего необычного; но так полагаться на свое счастье, что делать в классе работы, которые должны быть сданы на следующем уроке! Вскоре после этого Тширнер пересадил меня одной скамьей ниже. Что это была совершенная несправедливость, говорил весь класс, а больше всего мое собственное сознание. С того времени я стал лениться, чтобы, по крайней мере, не даром переносить эту несправедливость, и моя лень, действительно, приняла изрядные размеры.

Однако, к делу!

Я пришел в школу, по обыкновению, не приготовив работы, и, по обыкновению же, хотел взять ее у Генкеля. Но греческой он еще не окончил, а латинскую только что отдал Гану. Этот Ган имеет все шансы стать отъявленным негодяем: его завистливая, грязная душонка ни в чем не находит такого большого удовольствия, как в несчастии других; притом у него острый, проницательный ум, много настойчивости, остроумия и трусости. Всеми его поступками руководит самый ужасный эгоизм, какой только можно себе представить. Меня он ненавидит, я это знаю. Но эта ненависть, уже так ясно проявлявшаяся, отступает на задний план всякий раз, когда дело заходит о его выгоде: когда он хочет что-нибудь продать мне, или купить. Такого рода дел у меня

с ним было много, так как и я охотно вступаю с ним в сношения—конечно, только в школе,—с целью изучения людей.

Генкель хотел передать мне свое греческое упражнение [1]), но этот Ган постарался вырвать его у меня из-под носа, и это ему удалось. Сегодня, как нарочно, я не мог получить тетради. Кéлер отдал свою Штурму; Ланген и Кох еще работали. Я был встревожен. Время идет, а у меня работы все нет. Я обернулся и увидел устремленные на меня, чертовски насмешливые глаза Гана. Этот взгляд говорил о злорадстве, которое охватило его, и вызвал во мне ненависть к нему, такую ненависть, которая, клянусь, долго будет продолжаться, не скоро охладеет.

Кроме него я ненавижу еще только одного человека— Т. И, клянусь Богом! я думаю, что моя ненависть, особенно против последнего, будет длиться вечно!!! Мой отец говорит, что не желает ему ничего дурного. Ну, это—для мягких, женственных натур... Нет, смерть ему! горе! До моего последнего издыхания я буду желать ему погибели и, клянусь Богом, не ограничусь одним только желанием!.. Самому взяться за работу и—

Von der Stirne heiss и проч. [2]).

Бьет девять, а я еще не получил помощи. Я обратился к Мейтцену, который недавно перешел к нам из преобразованной гимназии и был моим лучшим другом, когда мы с ним учились вместе. В этой крайней нужде я обратился к нему. Я уже ждал от него отказа, но нет: он обещал мне и хотел только еще раз просмотреть свою работу. Я ждал ¼ часа; он еще не кончил. Наконец, через полчаса я получил от него такой ответ: он поставил себе за правило никому не давать своих работ, а исключений, как ему это ни тяжело, делать не хочет. Я громко рассмеялся в глаза моему доброму другу. Тогда, наконец, я получил черновик «после стольких страданий»...

---

[1]) Чтобы списать.

[2]) Из «Песни о колоколе» Шиллера.

Пусть же от работы
Градом льется пот!

(Перев. Глинки).

Однако, сегодняшнее утро произвело на меня глубокое впечатление.

Пятница, 28 Февраля.

Сегодня ректор пришел с кондуитами. У меня, как я это предвидел, был довольно-таки плохой. Ректор произнес мою фамилию. Я встал и, когда он прочел мои скверные отметки, возразил:

— Я не знаю, чем я это заслужил?

— Да, да, Лассаль,—возразил Шёнборн:—к вашим заслугам относятся несправедливо.

Он протянул мне журнал:

— Но, скажите мне, почему я никогда не вижу подписи вашего отца, а всегда подпись матери?

— Потому что отца часто не бывает дома,—ответил я. Перевернув листы книги, я прибавил: — здесь есть и его подпись.

— Позвольте хоть раз взглянуть,—где это?

Я подал книгу.

— Единственный раз подписался ваш отец, и то — только в прошлом году. Вашего отца целый год нет дома? или всякий раз, как вы получаете дурные отметки?

— Нет,—возразил я, твердо уверенный, что ректор пошлет меня к отцу, чтоб тот подписался:—иногда отец и бывает дома, но всегда предоставляет подписываться матери.

— Так я вам объясню! — закричал Шёнборн. — Это происходит оттого, что вы показываете свой журнал всегда матери, но никогда отцу!

Этот господин не знал, что я в своей виртуозности дошел до того, что совсем никому не показываю отметок.

— Чтобы впредь этого не было! Подпись вашей матери не имеет никакого значения!

— О! подумал я,—у матери есть даже поверенный.

Он возвратил мне журнал.

У меня словно камень свалился с груди, когда я получил эту маленькую книжечку. Однако, все это мне было очень неприятно, и я сейчас скажу, почему. До сих пор

я подписывался именем матери; какое-то чувство почтения удерживало мою руку от солидной, веской подписи: «Гейман Лассаль». На этот раз я принужден был подавить это чувство и на другой же день принес журнал с подписью отца, т.-е. моею собственной, так как, смотря по обстоятельствам, я—и отец, и мать, и сын.

Если-б мой отец имел правильное понятие о системе журналов, то, конечно, я показывал бы ему свои отметки, даже в том случае, если бы мне грозило суровое наказание. Но это слишком сердило бы отца, он расстраивался бы на целые недели, думал бы, Бог весть, что о моей негодности и не поверил бы мне.

«Lass Dich nicht irren des Pobles Geschrei,
Nicht den Irrthum rasender Thoren [1]!

Суббота, 29 Февраля.

Я получил от Тширнера нагоняй за то, что в заголовке своего журнала написал: «истина и вымысел»[2]).

Играл у Гессе. Купил у Пинска перочинный нож за $7^1/_2$ зильбергрошей и хотел продать его матери за 10. Она обещала мне дать только 5. Играл в пикет.

Воскресенье, 1 Марта.

Сегодня уезжает отец. Вставши, я нашел отца и мать рассерженными. Между ними произошла маленькая перебранка. Прощаясь, он нежно обнял мать, но она не поцеловала его. Мы готовились к свадьбе Ландсбергера. У меня не было ни перчаток, ни манжет,—короче, мне совсем не хотелось ехать. Однако, я собрался.

Танцовали. Я не нашел Юльхен Скловер, которую я пригласил заранее, и взял другую даму. Вдруг она предстала предо мной. Я заставил ее удовольствоваться экстратуром, чем Орглер, как chapeau d'honner (chapeau ordinaire [3]), был очень недоволен.

---

[1]) Не допускай, чтобы тебя сбивали с пути крики черни и заблуждения безумцев.

[2]) Подзаголовок гетевских мемуаров «Из моей жизни».

[3]) Режиссер.

После танцев Орглер набросился на меня и сказал:

— Я совершенно не допускаю беспорядка в танцах. Ты знаешь, я не особенно галантен.

— Это уж давным давно всем известно,—подумал я.

Опять начались танцы. Я не танцовал, пошел к Орглеру, сообщил ему об этом и потребовал экстра-тура. На это он сказал, что я должен танцовать с оставшимися дамами, id est (т.-е.), с неумеющими танцовать, но я подошел к младшей X., которая мне очень нравилась:

— Der Juno gleich an Wuchs,
Der Venus Reitz
Im holden Angesicht [1]).

Я решился и начал танцовать. Но, o impudentiam praedicandam nec ferendam!!! [2]), Орглер остановил музыку. Я отвел свою даму на место. Наступила глубокая тишина. Я выступил вперед и закричал:

— Г. Орглер, я хочу не в очередь танцовать, и хотя вы — chapeau d'honneur, но не имеете права запретить это мне. Это — не bal paré и не танцы у Кнаппе, а свадьба.

Поднялось неописуемое смятение. К нам подбежали, чтобы успокоить нас. Наконец, это удалось моей сестре. Месть я отложил до другого времени. Я сыпал вокруг себя колкостями. Нескольким студентам я называл Орглера homo expers humanitatis et communis vitaeig narus [3]), образованным дамам говорил о savoir vivre, другим же—о том, что, должно быть, он научился этому у Касперке.

Орглер, который все это слышал, — а я этого и добивался, — неистовствовал и прислал мне свою шляпу — chapeau d'honneur. Я взял ее, высоко подбросил и сказал, что шляпа, которую носил Орглер, недостойна того, чтобы я принял ее!

Освирепевший Орглер подскочил ко мне (к счастью, при этом никого не было,—это происходило в соседней комнате) и крикнул:

— Я дам тебе пощечину, только не здесь!

---

[1]) Ростом подобная Юноне и прелестью милого лица—Венере!

[2]) О, бесстыдство, о котором следовало предупредить, но которого не нужно было делать!

[3]) Некультурным и неблаговоспитанным.

Я громко рассмеялся и вышел в зал. Однако, я все же подумал: вот что значит 4 года! Если бы мне было 19 лет, Орглер не осмелился бы поступить так с сыном своего принципала. И разве я не превосхожу его бесконечно всем: умом, образованием, ловкостью, богатством, внешностью? Если всего этого я имею мало, то он—несравненно меньше. И будь мой отец здесь, Орглеру пришлось бы плохо за угрозу пощечиной. Однако, я постоянно раздражал Орглера до того, что он захворал и велел приготовить себе прохладительный напиток. Он, несмотря на это, остался. За ужином он подошел чокнуться со мной. После ужина, по общему требованию, начались неочередные танцы

Понедельник, 2 Марта.

Я знал, что ни во вторник, ни в среду не будет занятий; поэтому мне и сегодня не хотелось идти в школу, и я выдумал себе—боль в животе.

Среда, 4 Марта.

Сегодня я очень рассердил свою добрую мать вспыльчивостью; в этом я искренно раскаиваюсь. Она—лучшая из матерей, а я так часто забываюсь!

Суббота, 7 Марта.

Проповедь д-ра Гейгера была превосходна. После обеда я пошел к Гессе. Слушайте! Слушайте! Я проиграл 23 зильбергроша! Нет, клянусь всем святым, жизнью моих родителей, до 1 апреля я не дотронусь до кия!

Воскресенье, 8 Марта.

Все это время мы пытаемся достать письма Рикхен к Т. Этот скверный малый порочит доброе имя Рикхен. Он показывает всем своим знакомым и первому встречному ее письма, которые, действительно, так написаны, что о

ней могут подумать дурно. Эти-то письма мы и стараемся достать. Я думаю достичь этого подкупом прислуги Т. С Иоганном мы вошли уже в переговоры, но, пока, результатов еще нет. Лакс должен пойти к Т., выразить желание прочесть письма и разорвать одно из них, особенно важное.

Бэда и Рольф пойдут к нему и скажут, что побились об заклад, что того-то и того-то нет в письмах, и отнимут их у него. Рикхен возвратила ему через Густеля записную книжку, игольник и другие подарки, так как он упрекал ее в эгоизме. Он утверждает, что не получал игольника. Я только и повторяю: проклятие! Проклятие мне самому, если я успокоюсь прежде, чем отомщу, страшно отомщу этой собаке за сестру и отца! Будь я проклят здесь и там, если я когда-либо забуду об этом! Будь я проклят, если я не заставлю его страдать в десять раз больше за те муки, которые он причинил отцу и сестре! Боже! Ты слышишь меня!

Сегодня после обеда явился мой демон - искуситель в образе Фридлендера и предложил мне пойти сыграть с ним на биллиарде. Я отказался.

Понедельник, 9—Вторник, 10—Среда, 11—Четверг, 12 Марта.

Мое положение в школе с каждым днем становится невыносимее. Типпнер все более и более оскорбляет меня и высмеивает перед целым классом. Та горечь, которую я испытываю после каждого подобного случая, усиливает мою лень. Действительно, если мне не удастся на пасху уехать въ Лейпциг,—чего Боже упаси,—то я окажусь в очень и очень скверном положении.

Суббота, 14 Марта.

Сегодня возвратился отец. Повидимому, моя поездка на пасху в Лейпциг—сомнительна. Эта мысль привела меня в такое мрачное, мизантропическое настроение, что я не пошел к Герстенбергу, как обещал, а остался дома.

Ко мне пришел Исидор, и мы с ним пошли к Гессе. До кия я и не дотрагивался.

Воскресенье, 15 Марта.

В пятницу мне удалось продать матери свой перочинный нож за 10 зильбергрошей ($2^1/_2$ гроша барыша). Я пошел к Манатшалю, отдал $5^1/_2$ зильбергрошей и велел приготовить для сестры пирожное.

Понедельник, 16 Марта.

Пробило уже полчаса третьего, когда я пришел в школу. Мне не хотелось получить от Тширнера нагоняй, и я пошел к Самуилу. Мы выпили по рюмке водки и закусили колбасой. Заплатил за это я.

После пришел туда какой-то Френкель. Предложил достать карты и сыграть в «onze et demi». Я согласился. Когда он вышел, Самуил сказал, что проиграл ему недавно 10 зильбергрошей, что тому чертовски везет, что я проиграю наверняка,— и предостерег от игры с ним. Я тотчас же заметил, что Френкель знает все карты. Это, однако, ему не помогло: он проиграл мне 8 зильбергрошей и побледнел, как смерть. От дальнейшей игры я увильнул под предлогом, что мне нужно идти в школу. В этом мне помог Самуил.

Вторник. 17 Марта.

Сегодня я завел с отцом разговор о Лейпциге и узнал, что отец во Франкфурте получил письмо. Он не может поместить меня в пансион ни к одному учителю, так как вакансии все заняты, а знакомых, которым он мог бы меня доверить, у него нет. Его очень огорчает, что я должен пробыть в школе еще целых три года, а затем еще год учеником. Потому на пасху он хочет взять меня из школы; год я позаймусь дома, а потом он отдаст меня в торговый дом. Пусть так.

После обеда я зашел, en passant, к Герстенбергу. У него был Френкель. Мы играли по маленькой, и хотя он знал все карты, но все-таки проиграл $7^1/_2$ зильбергрошей. Он отговорился тем, что у него нет с собою денег, и обещал

заплатить мне на следующий день. Самуил при этом сделал многозначительную мину.

Среда, 18 Марта.

После обеда, около двух, я пошел к Герстенбергу. Утром у него был Френкель и сказал, что он ни в каком случае не заплатит мне карточного долга. Я тотчас же решил принять меры—пошел в его контору, но встретил там только хозяина, который много расспрашивал о моем имени и цели посещения. Первое я сообщил ему—его лицо тотчас же выразило уважение,—о втором умолчал. Вернувшись, я засел в засаду, поджидать свою жертву. Вошел Френкель. Я набросился на него, как тигр на добычу.

— Господин Френкель! Если вы не хотите, чтоб я устроил вам скандал у вашего хозяина или у Урбаха (его дяди), то сейчас же извольте заплатить мне долг! Я обращаюсь с вами так потому, что узнал от Герстенберга, как вы себя ведете.

Он побледнел и, заикаясь, пробормотал, что теперь у него нет денег, но что он заплатит, что принесет их к Герстенбергу... Я ушел. Пробило 4 часа. Я на крыльях алчности поспешил к Френкелю. Он был один и завел старый разговор: он заплатил бы мне, если-б я не обращался с ним так, а теперь он не желает платить. С Герстенбергом он только пошутил. Я потерял всякое терпение.

— Послушайте, я вас научу, что значит играть на деньги и не платить! Если вы мне не заплатите, то заплатит ваш дядя или ваш хозяин. Кроме того, я скажу, что в то время, как он бывает у обедни, вы оставляете его квартиру и уходите играть в «onze et demi». Скажу также, что вы играете фальшивыми картами.

Одним словом, я напугал его так, что он тотчас же заплатил мне деньги и всю свою ярость излил на пришедшего Самуила, которого ругал ослом и быком.

Четверг, 19 Марта.

Я давно уже решил пропустить сегодня уроки, что и сделал.

В 8 часов пошел к Самуилу; мы дурачились, приказали подать ужин, позвали Исидора и т. д.

От нечего делать, я писал «в главной книге» Самуила и в короткое время научился большему, чем за целый день в школе. Я отлично понял, как ведутся главные и вспомогательные книги и что значит: котировка, брутто, нетто, тара, кредит, дебет, «за счет» и «на счет». Самуил сказал, что я быстро схватываю.

Суббота, 21 Марта.

Утром—выпускной экзамен. Вечером у нас—thé dansant и ужин для Доры Фридлендер и ее жениха. Сегодня мне совсем не было весело. Думаю, что виной тому маски. Их явилось разом 150. Quel trouble! Всем, кроме меня, было весело.

Понедельник, 23 Марта.

От нашей grande fête осталось много кушаний. Поэтому сегодня мы устроили petit fête, на которой мне было веселее, чем в субботу. Был Рейхенбах. Танцовали, смеялись, пили и ели.

Вторник, 24 Марта.

Сегодня мы были опять приглашены к Цадигам. Мне было бы скучно, если бы я не встретил там молодого Борхерта. В четверг вечером он возбудил мое тщеславие. Он сказал, что принимает во мне большое участие, что я гениален, и что ему будет очень неприятно, если я дам ложное направление своему уму. Затем он говорил мне, что я уже давно возбуждаю его внимание, так как я—необыкновенный мальчик. Этому Борхерту я верю больше, чем кому-либо, так как он не льстит. К тому же, он обладает в высокой степени sens commun. В том же меня уверяет и д-р Шифф. Я начинаю верить этому.

Среда, 25 Марта.

Сегодня я проспал и сошел вниз только в половине восьмого. Отец, который уже был недоволен тем, что я прогулял несколько дней, и, кроме того, рассержен матерью, бранился с Эмилией и Рикхен. Он набросился на меня, прибил нас—меня, Эмилию, и Рикхен—разбил несколько чашек и т. д.

Я был возмущен таким обращением, кроме того, я простудился и после обеда почувствовал себя совершенно больным. И опять он стал заботливым и любящим отцом. Я лег в постель, так как меня сильно лихорадило.

Четверг, 26—Пятница, 27—Суббота, 28—Воскресенье, 29 Марта.

Лежу в постели.

Отец вел себя все это время так любовно, снисходительно, нежно, что это не поддается никакому описанию. Одно время он был раздражителен, зато теперь он так мягок! Мать старается не уступать ему. Но, при всей ее доброте, она имеет слабость постоянно браниться, и нет средств удержать ее от этого. Она умолкает только тогда, когда отец по целым неделям сердится. Но стоит только его гневу пройти, как снова возрастает ее склонность к брани. Иногда это делает моего отца действительно несчастным. Так, например, мать постоянно бранится за то, что отец слишком поздно возвращается из клуба, но для него эти несколько часов, от 4 до 8½, — единственное развлечение.

Отец подарил мне совсем новенькую монету в два талера и мать—один талер.

Понедельник, 30 Марта.

Гуттентаг разрешил мне сегодня встать; но я остался в постели. Он и Петцольд исследовали мой нос и спорили о том, что именно повреждено в нем.

Молодой Урбах учил меня играть в вист. Прекрасное занятие! Это любимая игра Шиффа. Мы играли en deux

Моя сестра должна выйти замуж. Ей предлагают многих молодых людей. Но об этом—в другой раз.

Вторник 31 Марта.

Сегодня я встал с постели и читал Виланда: «Музарион», «Грации» и «Обвиненный амур». Этот старый, сластолюбивый Виланд, этот проказник и любовник ценит выше всего округлость форм. Всегда говорят, что следует избегать плохих романов и читать только классиков. Пусть прочтут превосходного Виланда! Разве в нем не больше грязи, чем в худшем из романов Поля де-Кока?

Вечером мать и Рикхен пошли в театр, а я к Урбаху, где играл в вист. Мать скоро вернулась домой, потому что пьеса «Царь и плотник» была заменена «Нормой».

Повешен Видебейн. Этот молодой человек несколько лет служил у Лёббеке. Он слыл за прекраснейшего, образованнейшего, элегантнейшего молодого человека в Бреславле и был единственным сыном богатых родителей. Уже у Лёббеке он растратил кассовые деньги, и его отец заплатил за него 6.000 талеров. После этого молодой человек уехал в Лондон, где и был повешен за подложный вексель, несмотря на все старания обожавших его родителей, которые предлагали громадную сумму, чтобы спасти его. Поистине ужасный случай! Этот roué, этот элегантный молодой человек—повешен. Какой стыд, какой позор для родителей, так любивших его.

Среда, 1 Апреля.

Сегодня я пошел в первый раз к Кролю. Я там почти скучал. Вечером мы были приглашены к Цадигам на прощальный thé dansant. Там была Матильда Вольгейм: она выглядела сегодня очаровательной. Я опять говорил с Борхертом много и на серьезные темы.

Четверг, 2 Апреля.

Сегодня я опять не ходил в школу. После обеда меня навестил Борхерт. Я сыграл с ним три партии в шахматы,

две выиграл. Потом я его провожал. Он рассказывал мне о своем старшем брате, о его разладе с самим собой.

Тот уже был в первом классе, когда перешел к коммерческим занятиям, он знает людей, которые вышли из четвертого класса, а теперь уже опередили его: они уже приказчики, а он только мальчик, хотя они моложе его. Он, читавший Гомера и Цицерона, Софокла и Эврипида, не получает никакого или очень скудное жалованье, тогда как его младший брат, вышедший из четвертого класса, имеет вполне приличное содержание.

Видя это, он плакал кровавыми слезами, когда его предпочитали более молодым и, к тому же, невежественным людям. Гомер и Демосфен с семью греческими мудрецами ничем не помогли ему и даже совет Виргилия:

«Durate et vosmet rebus servate secundis» — [1])

не мог утешить его. Тогда им овладело насмешливое отношение ко всему; слезы иссякли; он чувствовал себя униженным и глубоко оскорбленным. Его губы конвульсивно сжались в судорожную усмешку, его сердце оледенело, юношеская горячность уступила место иронии и черствости, чувство понемногу умерло.

Я слушал молча. Он рисовал мне, сам того не подозревая, мою собственную судьбу. О, я чувствую: если не выйду скоро из школы, чтобы, насколько возможно, молодым покончить с годами ученичества, если я, знакомый с духом греков и римлян, с их произведениями и миром их идей, с героями Илиады и поэтами Эллады, в 19—20 лет должен быть учеником, и какой-нибудь приказчик моего возраста или даже моложе, который имеет то единственное преимущество предо мной, что ничего не знает и ничего не чувствует...

Пятница, 3 Апреля.

Сегодня ходил в школу.

---

[1]) Крепитесь и пользуйтесь благоприятными обстоятельствами.

Суббота, 4 Апреля.

Возвратясь из школы, я начал читать «Kaufmann und Dichter» [1]. Ко мне вошел отец.

— Ты уже опять читаешь роман! Ничего и ничего, кроме чтения романов по целым дням.

Я спросил.

— Что же я должен делать? разве я не должен знакомиться с литературой и беллетристами?

— Глупости! я тебе это запрещаю.

Я спокойно пошел в другую комнату, достал Шекспира, вернулся и начал читать.

— Что это у тебя?—спросил отец.

— Шекспир,—ответил я.—Ведь это уж, конечно, не роман.

— Ах!—закричал он,—ты уже достаточно читал поэтов. Возьми письменную работу или же латинскую, или греческую поэзию.

— Гомер и Шекспир,—возразил я,—хотя и совершенно различны по духу, но оба одинаково велики; Шекспир так же гениален, как и Гомер.

— Громадная разница,—сказал отец:—то греческое, а это немецкое.

Итак, по мнению отца, Гомера читают не для того, чтобы облагородить сердце и ум, не для того, чтобы восхищаться его поэтическими красотами, не ради его влияния на наши нравственные принципы, а только ради изучения греческого языка!!

Воскресенье, 5 Апреля.

Сегодня рано утром я пошел к молодому Борхерту и застал его брата в полном неглиже. Мы играли в шахматы.

После обеда я поехал с Лаксом, Орглером и Кремером в Клейнбург. Там мы встретили некоего Гана и Фюрстенталя

---

[1] «Dichter und Kaufmann» («Поэт и купец») — юношеская работа Бертольда Ауэрбаха; появилась в 1839 г. Касается жизни сочинителя эпиграмм Мозеса Эфраима Ку.

и взяли их с собой к Клеттендорф. С 1 апреля я могу играть на биллиарде,—и я играл одним шаром. Нам было очень весело.

На возвратном пути у нашего дома я встретил Исидора и Фридлендера. Они собрались смотреть испанских наездников, заходили за мной и получили для меня от матери разрешение идти с ними. Я поднялся наверх. Матери не было дома. Было уже поздно, и мы поспешили в цирк. Вторых свободных мест не было, и нам пришлось сесть в первые, на которых мы имели то удобство, что нас лошади засыпали песком и задевали головами. Я затеял спор с господином в блестящем сюртуке и с хлыстом в руках. Этому хлысту я охотно пожелал бы близкого знакомства с ушами его владельца! Когда мы вернулись домой, матери еще не было, а отец, как я знал, был на большом ужине. Мы с Исидором отправились к Гессе поиграть на биллиарде. Домой я вернулся в четверть двенадцатого, и мне стоило большого труда и много умелой тактики предотвратить бурю.

Уже несколько дней сестра сердится на меня. Она много говорит о моей испорченности; и когда я принудил ее высказаться яснее, она сказала, что я бездельничаю и играю на биллиарде,—с такой уверенностью, что мне нужно было много присутствия духа и—

Damit ich's kurz mit unsrer Sprache
Kraft und Kürze sage — [1])

большой бесцеремонности, чтобы разубедить ее в этом. Она не хотела назвать лицо, от которого слышала это. Я думаю, что она прочла мой дневник, ключ от которого в последнее время я часто забываю прятать.

Понедельник, 6 Апреля.

Сегодня были последние уроки, и я не знаю наверное, останусь ли я в Бреславле и буду заниматься на дому, или

[1]) Выражаясь со свойственной нашему языку силой и краткостью.

поеду в Магдебург... или еще куда-нибудь, к черту на кулички. Я читал Sganarelle Мольера и думал о правиле:

Le bruit est pour le fat, la plainte est pour le sot,
L'honnête homme trompé se retire et ne dit mot [1]).

Вторник, 7 Апреля.

К обеду отец пришел расстроенный и потребовал мой дневник. Меня охватил ужас. Я принес его и открыл. Отец посмотрел, записываю ли я каждый день и, дойдя до последнего воскресенья, прочел. Что я мог сказать ему? Он слышал, что в воскресенье вечером я играл на биллиарде, и хотел видеть, записал ли я это. Последовавшая за этим сцена была ужасна. Отец то краснел, то бледнел и так тяжело вздыхал, что мне давило грудь.

После обеда я отправился к Исидору и рассказал ему все. Он очень жалел меня. Когда я вечером вернулся домой, отец был немного спокойнее, и я думал, что буря прошла уже. Но худшее было еще впереди.

Среда, 8 Апреля.

И вот—оно наступило. Сегодня рано утром отец спросил у меня кондуит. У меня кровь застыла в жилах.

— Праздники уже наступили,—сказал отец.—Неужели ты не получил еще ведомости?

Я ответил отрицательно.

— Когда же ты получишь пасхальный кондуит?

— Не знаю.

— Хорошо, я напишу ректору. Он даст мне ответ. Бьюсь об заклад, ты меня обманываешь, но я узнаю это!

---

[1]) Можно было бы подумать, что Лассаль нашел эти известные стихи в комедии Мольера «Sganarelle ou le cocu imaginaire», к которой они так подходят по смыслу. Но это не так. Они взяты из забытой комедии Lanoue «La coquette corrigée» и читаются (Лассаль по своей привычке цитирует не совсем верно) так:

Le bruit est pour le fat, la plainte pour le sot,
L'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot.

Муки, которые я испытывал, не поддаются описанию. Мной овладела такая тоска, что я не знал, куда мне деваться. Но какие резкие противоречия кроются в человеческом сердце! Я, который совершая преступление, подделывая подпись моих родителей и постоянно обманывая отца, — я в этот момент благоговейнее, чем когда-либо, молился Богу, прося его помочь мне скрыть обман; этот первый обман будет и последним в моей жизни! Помолившись, я успокоился. Словно я серьезно верил, что Бог слышит нас, когда мы Его просим скрыть обман. Но относительно этого я не беспокоился.

Для большей безопасности я решил не писать теперь в моем дневнике. Согласно моему принципу, я высказал бы здесь свои опасения, но я боялся, что это может послужить уликой, как это уже случилось вчера.

Я исполнил свое намерение и заполнил этот пробел только позже.

Четверг, 9 Апреля.

Сегодня у нас был экзамен. Несомненно, что я поеду в Магдебург в коммерческое училище; этому особенно способствовал Рейснер. Отец уже обращался к инспектору заведения и получил от него письмо.

Пятница, 10 Апреля.

Теперь я более спокоен относительно кондуита.

Суббота, 11 Апреля.

Сегодня—день рожденья моего и моей сестры. Но я не приготовил никакого стихотворения. Когда я сошел вниз, мать подарила мне 2 дуката и 2 пары перчаток, а отец—материи на сюртук, брюки и жилет. Он помирился со мной (по поводу биллиардной игры), но дал мне почувствовать, что все еще сомневается относительно кондуита. 2 дуката он отобрал у меня, чтобы сберечь их. Сестра получила много

подарков! Молодой Урбах подарил мне стихотворения Шекспира в переплете, одинаковом с моими книгами, а Исидор—альбом.

После обеда я вышел с молодым Урбахом погулять. На Ринге я встретил Габера. Я сказал ему, что в воскресенье, через неделю, еду в Магдебург. Он сообщил, что думает ехать завтра, чтобы провести 3 недели у родителей; затем он отправится в Берлин, там займется год, сдаст докторский экзамен и потом, не заезжая к родителям, поедет в центральную Россию.

— Дорогой Фердинанд,—сказал он,—возможно, что мы больше не увидимся. Очень вероятно, что я не возвращусь из России. Я и без того не забыл бы вас, но будет лучше, если вы напишете мне что-нибудь в альбом.

Я пошел с ним. Он был очень печален и постоянно напоминал о том, что больше никогда меня не увидит. Я исполнил его просьбу и написал ему на память. Мы расстались в слезах.

Вечером я узнал, что Габер на примете у университетского начальства.

Воскресенье, 12 Апреля

Мать дала мне денег на театр, но я поздно вернулся с прогулки. Я был недоволен, но это делу не помогло.

Понедельник, 13 Апреля.

Сегодня за обедом отец очень рассердился за то, что я потребовал себе новый сюртук.

— Ты думаешь, я не напал на следы твоих проделок?

При этом он показал мне запечатанное письмо на имя Шёнборна.

— Сегодня после обеда я узнаю все... Что? Я увижу твой кондуит!.. и даю пять против одного, что ты меня обманываешь. Но тогда берегись!

Я готов был провалиться сквозь землю и сделал неимоверное усилие, чтобы мое замешательство не выдало меня

Когда отец ушел из конторы, я заперся в своей комнате, чтобы погоревать наедине. Однако, вскоре я увидел, что слезы мне не помогают; я должен действовать. Я хотел пойти к Тширнеру, чтобы получить свой журнал и потребовать отпускное свидетельство, и, по крайней мере, с этой стороны обеспечить себя. Но я не мог отыскать его квартиры. Я был в отчаянии. Каждое мгновение все могло открыться, и я—ближе, чем когда-либо, к самоубийству.

Ruhig schläft sich's in dem engen Haus.
Mit der Menschen Freude stirbt hier auch der Kummer,
Athmen auch der Menschen Qualen aus [1].

Однако, я этого не сделал. И это—лучшее доказательство того, что я не эгоист. Что касается меня лично, то не только теперь, когда я нахожусь в сильном горе и терзаюсь сомнениями, но и в угаре радости, где-нибудь на балу или в другом месте, я не только не испугался бы смерти, явившейся предо мной, но еще жадно простер бы к ней руки. Стало быть, не любовь к жизни удержала меня от этого шага, а мысль, что скажут отец и мать, и какими несчастными я их сделаю!!. Отец, сгорая от стыда, сам лишил бы себя жизни, мать умерла бы с горя. Я-то был бы счастлив, но самые дорогие мне существа—отец и мать—были бы невыразимо несчастны. Нет, таким эгоистом я не хочу быть! Когда я повернулся спиною к воде, мне в голову пришла утешительная мысль; я вспомнил Мальмана:

Was ist's, das unsterbliche Geister entzückt,
Wenn sie niederblicken zur Welt?
Ein Herz, das das Unglück nicht niederdrückt,
Ein Muth, der im Unglück fest hält [2].

Я сказал себе, что в два года забуду эту историю и при воспоминани о ней буду смеяться.

Auch Leiden, sind einst sie vergangen,
Laben die Seele, wie Regen die Au [3].

---

[1]) Спокойно спится в тесном жилище. Здесь, вместе с человеческой радостью, умирает печаль и оканчивается мука.

[2]) Что приводит в восторг бессмертных духов, когда они взирают вниз, на мир? Сердце, которого не подавляет несчастье, мужество, которое крепнет в несчастьи.

[3]) Прошедшие страдания освежают душу, как дождь поля.

Я решил последовать Виргилию.

Durate et vobmet rebus servate secundis [1].

Когда я вернулся домой, отец позвал меня и сказал, что я должен или сознаться, или идти с ним к ректору. Еще раз судьба посмеялась надо мною. Я сознался, что кондуит к Михайлову дню подписал сам, потому что Рудигер вписал там «обман», что рождественского кондуита я еще не получил. Это была правда, но я умолчал, что вместо него мы получили записки.

Но отец, должно быть, или знал больше, или догадывался, что это не так, и пошел со мной к ректору. Дорогой я шатался. Через несколько минут он узнал все... Отец плакал. Что я при этом перечувствовал, нельзя передать. Я тысячу раз проклинал тот день, когда, из боязни показать отцу кондуит, я подписал его сам.

Боже! скольких я знаю отцов, которые позволяют подписывать кондуиты своим сыновьям, не просматривая их! Зигфрид Вольгейм приходит к своему отцу:

— Отец! я получил кондуит.

— Да? Где же он?

— Вот, подпиши, но не читай: он очень плох.

При этом он закрывает рукой лист, оставляя только место для подписи отца. Тот преспокойно подписывается.

Когда Исидор ходил еще в школу, я часто слышал, как отец говорил ему:

— Вот уже месяц, как я не вижу твоего журнала, ты подписываешь все сам: воображаю, как он хорош!

Я также знаю многих отцов, которые сильно били и наказывали своих сыновей, но вскоре забывали все. Но я не знаю ни одного, который принимал бы дело так близко к сердцу, как мой отец. Тем более я неправ, что обидел такого отца.

На следующий день я должен был получить от Тширнера ведомость и отдать ее отцу.

---

[1]) См. стр. 27.

Я пропускаю большой промежуток времени и все события сообщаю вкратце.

Отец был печален целую неделю. Потом мы помирились. Я обещал никогда не позволять себе чего-либо подобного.

Мой отъезд был решен.

Часть II.

ПРЕДИСЛОВИЕ

но II-ой части

(к немецкому изданию).

Дальнейшее пребывание в Бреславле для молодого Фердинанда Лассаля стало невозможным вследствие его школьных проделок. Как ни хотели его родители, чтобы необыкновенно даровитый мальчик пошел в университет, Фердинанд, с вынужденного согласия отца, отправился в начале мая 1840 г. в Лейпциг, чтобы подготовиться к занятиям коммерцией в тамошней коммерческой школе, носившей официальное название «Лейпцигской общественной коммерческой школы». Отец провожал его в Лейпциг и поместил у Карла Готлиба Гандера, директора частной школы. Дом Гандера находился тогда еще за воротами города, в восточном предместьи. Теперь там пролегает Нюренбергская улица, и на месте старого дома выстроен новый (№ 11 названной улицы). Гандер содержал в центре города, на Университетской улице, частную школу, помещавшуюся в академическом здании, которое называлось «Паулинум».

Эта школа впоследствии была преобразована в Тейхмановский интитут, который существует еще и теперь и посещается детьми лучших фамилий.

Первое время Фердинанд чувствовал себя в семье своего хозяина очень хорошо. Он не находит достаточно слов похвалы за любезное, деликатное обращение Гандера и его жены.

Но эти мирные, дружелюбные отношения продолжались недолго. Уже 7 июля он пишет о своей хозяйке: «Обстоятельства резко изменились. Она ссорится из-за каждого пустяка и натравляет на меня своего супруга. О женщины, женщины! кто вас может понять! А я был так добр!»

Пять месяцев спустя, в начале декабря, он высказывает уже сильную ненависть к своей хозяйке, первоначально пользовавшейся таким уважением с его стороны. Он называет ее «изъеденной червями, отцветшей розой из вида центифолий» и при этом острит: «cent folies—100 глупостей—присущи ей; но она еще более зла, чем глупа».

О самом Гандере молодой человек отзывается также самым презрительным образом.

Еще хуже сложились его отношения к учителям коммерческой школы.

Эта школа была основана в 1831 году гильдией купцов, существовавшей с 1477 г. и упраздненной в последнее десятилетие. Значит, школа существует уже около 70 лет. С 1832 по 1890 г. она помещалась на Королевской площади в доме № 10. Недавно она переведена в новое, великолепное помещение на Лёр-Штрассе, недалеко от старого городского театра. После упразднения купеческой гильдии содержание школы взяла на себя торговая палата. Правление школы состояло из представителей гильдии, из «господ мелких торговцев», из торговых депутатов, как представителей купечества, и из директора.

Само собою разумеется, Лассаль и теперь утверждает, что он—жертва утонченной злобы своих учителей. Он страдает чем-то в роде мании преследования. Он всегда прав, а учителя всегда неправы. Комедия из времени его ученичества в Бреславле повторяется и здесь, но только в еще больших размерах. Его нападки направлены особенно на директора Шибе. Он называет его неспособным, пресмыкающимся, недостойным, грубым, мстительным, трусливым, короче, — типом педагога, каким он не дол-

жен бы быть. Он ненавидит этого директора Шибе всем сердцем и, как и прежде, клянется отомстить своему врагу.

Крайне одностороннее изображение, которое мы находим в записках недовольного ученика коммерческой школы, совершенно не согласуется с памятью о Шибе, которую последний оставил по себе во всех близко его знавших. Он умер в 1851 году в своем родном городе Страсбурге на 72-м году жизни. Август Шибе пользовался репутацией великодушного, справедливого, ученого и дельного человека. Он строго придерживался дисциплины, но сам с величайшей решительностью отстаивал свои директорские права перед школьным правлением — лавочниками и торговыми депутатами. Он—автор нескольких весьма дельных сочинений по коммерческим наукам.

Мы охотно верим, что он терпеть не мог Лассаля. Один, находящийся еще в живых, учитель того времени подтвердил д-ру Вистлингу в Лейпциге,— которому мы обязаны нашими сведениями,—что директор Шибе относился к Лассалю особенно строго. Дерзкие выходки Лассаля подвергались его суровому осуждению в педагогическом совете. Он, на своем резком языке называл Лассаля бесстыдным грубияном; и действительно, последний был плохим и беспокойным учеником. Так, его квартирохозяин пишет старику Лассалю в Бреславль, что Фердинанд нескромен, дерзок, нерадив, заносчив. Лассаль с большим беспристрастием соглашается с этим и делает только лаконическое замечание: «Итак, я попрежнему не могу порадовать отца» (5 июля).

Как ни мало лестен отзыв Гандера об ученике коммерческого училища, он все же, кажется нам, справедлив. Как болтался он в Бреславле, так и в Лейпциге; здесь, как и там, он терпит хроническое безденежье. Он опять принимается за свои мелкие меновые сделки, продает свои книги и делает долги. Особенно он задолжал портному одного из своих друзей, у которого он оделся с ног до головы, так

как придавал большое значение тому, чтобы прилично выглядеть.

Чрезмерно развитое чувство собственного достоинства все более усиливается в молодом юноше; он называет это чувство «прекрасной, твердой верой в самого себя». Он сравнивает себя с лежащим на поле мертвым орлом, которому вороны, сороки и тому подобные презренные птицы (следует подразумевать учителей) выклевывают глаза и терзают тело. Но вот он чувствует в себе прилив новой жизни и с шумом поднимает свои крылья. «С карканьем улетают вороны и сороки, а я поднимаюсь к солнцу» (11 марта).

За свое непристойное поведение он часто подвергается самым суровым наказаниям. Так, однажды он выдержал три недели домашнего ареста. Учителя чуют в нем опасного человека. Директор объявляет, что ожидает только случая, чтобы исключить эту опасную голову, которая разрушает школьную дисциплину (22 марта).

Молодой Лассаль не лазил за словом в карман; а товарищи избрали именно его, чтобы сказать оставлявшему свою должность учителю прощальную, благодарственную речь от имени всего класса. Лассаль не имея времени подготовиться, импровизирует и, как это видно из его слов, производит впечатление на весь класс и на самого учителя. Надо особенно отметить в биографии Лассаля 19 декабря 1840 г.: в этот день он произнес свою первую юношескую речь.

Особенная черта характера Лассаля, которая уже часто проявлялась в его бреславльских записках, это — его страстное, поистине ужасное желание преследовать тех, кто причинил ему много зла. Эта черта с течением времени развивается в нем все более и более.

Он хочет запечатлеть в своем сердце огненными буквами свою ненависть, он жаждет пламенной мести и клянется «Богом и чортом». Он призывает проклятие на всю свою жизнь, если не отомстит за себя.

С ветхозаветным красноречием он дает обет ненависти: «Пусть я не знаю радости, пусть смех не коснется моих уст, пусть мне в несчастии не будет утешения! Пусть я буду проклят в преисподней, пусть не радует меня солнечный луч, пусть не будет у меня надежды в несчастии, пусть в удел мне достанется презрение здесь, на земле, и кара за клятвопреступление там!»

Более, чем когда-либо, страстно пробуждается в нем воинствующий еврей, который с мечем в руке должен отстаивать свои права от несправедливых притеснений и преследований.

По его мнению, несчастные евреи Дамаска должны были бы поджечь город со всех концов и взорвать пороховой погреб, чтобы погибнуть вместе со своими тиранами. «Жалкий народ!—восклицает он,—ты не заслужил лучшей участи. Червь, попираемый ногами,—и тот извивается, а ты только склоняешься еще ниже. Ты рожден рабом!» (21 мая 1840 года).

Против евреев выступали с обвинениями, что они употребляют для пасхального агнца христианскую кровь. По этому поводу он говорит: «Скоро наступит время, когда мы, действительно, пролитием христианской крови освободим себя» (30 июля).

В Лейпциге молодым Лассалем часто овладевала сильное желание вернуться домой, страстная тоска по родным. Одна из самых симпатичных черт в характере Фердинанда Лассаля—его чистая, глубокая любовь к своим, особенно к отцу. Он, не признававший никаких авторитетов, о своем отце постоянно говорит с самым глубоким почтением и искренней нежностью. Проделав какую-нибудь глупую шалость, он мучится при мысли об отце и только сознание, что он причинит ему горе, удерживает его от дальнейших выходок. Некрасивые диссонансы, которые часто встречаются в его дневнике умеряются чистыми аккордами детской любви к своим. С сестрой Фридерикой он помирился, и в его отношениях к ее жениху, его двоюродному брату Фердинанду Фрид-

лендеру, наступила полная перемена. Теперь у него для Фердинанда Фридлендера находятся выражения горячей признательности и даже удивления, что этот прославленный человек покинул шумную жизнь французской столицы для того, чтобы взять себе невесту из «скучного Бреславля».

Для мечтательных друзей юности сердце Фердинанда остается горячим и восприимчивым. Отношения его с лучшим другом Исидором Герстенбергом, благодаря расстоянию, несколько ослабевают, но чувства остаются те же.

Здесь, в Лейпциге, он особенно сошелся с Вильгельмом Беккером.

Эрнст-Іоганн-Вильгельм Беккер был в коммерческом отделении школы и состоял при одном экспедиционном бюро учеником, т. е. занимал место без жалованья. Родители Беккера были зажиточные берлинцы; его отец имел банкирскую контору. Молодой человек располагал большими средствами и мог позволять себе всякого рода комфорт и благородные удовольствия, как верховая езда и т. п. Он издержал много денег в обществе Лассаля и Цандера. Директор Одерман вспоминает Беккера, как легкомысленного юношу, который, не задумываясь, продал старьевщику за бесценок дорого-стоющий сюртук. Это—«берлинская ветряная мельница», как любил выражаться Шибе.

Кроме Вильгельма Беккера, Лассаль очень сошелся с Робертом Цандером, который умер несколько лет тому назад в Австро-Венгрии. Этот друг Лассаля был сын крупного купца, который имел торговлю в «Гофмансгофе», в великолепном квартале на Петерштрассе. Роберт ввел своих друзей, Лассаля и Беккера, в свою семью. Сестра Роберта, Розалия, была первой юношеской любовью Лассаля. Другой его сестрой, Антонией, увлекался Беккер. Лассаль писал Розалии Цандер многочисленные письма и посвящал ей стихотворения. Эти письма были еще целы при смерти Розалии; но затем они были уничтожены.

Лассаль сохранил воспоминание о семье Цандер до последних лет жизни. В последнее свое пребывание в Лейпциге он разыскивал их и очень сожалел, что его поиски остались безуспешны. Розалия осталась незамужней. Она умерла 25 августа 1876 года, прожив около 58 лет, и погребена на кладбище в Рейднице, теперь—предместьи Лейпцига.

Лассаль едва-ли имел в Лейпциге другой круг знакомства, кроме своих сотоварищей. С большинством из них он не был в хороших отношениях.

Сообщаемые ниже списки содержат учителей и учеников коммерческой школы.

Вот подробный список учителей $18^{40}/_{41}$ учебного года:

1. Август Шибе, директор Коммерческие науки (В 1850 г. вышел в отставку, умер в 1851 г.).

2. Хр. Фр. Адольф Ниццвитц. Немецкий язык, история и география.

3. Ад. Хр. Леопольд Ширгольц. Каллиграфия и арифметика.

4. Фр. Август Эше. Рисование.

5. Д-р Фр. Эрнест Феллер. Коммерческие науки и новые языки.

6. Хр. Готтлиб Флюгель. Естественная история и французский язык.

7. Юл. Амброзиус Гюльсе. Математика (Вышел в отставку в декабре 1840 года, умер в 1876 г. тайным советником и докладчиком мин. внутр. дел в Дрездене).

8. Христиан Готтлиб Гейшкель. Немецкий язык (Умер в 1860 г., после 25-летней педагогической деятельности в школе).

9. Карл Эрдман. Химия.

10. Д-р Карл Густав Одерман. Коммерческие науки, арифметика (Позже—директор школы; живет в отставке в Дрездене).

11. Фредерик Курвуазье. Французский язык (Живет в Лейпциге, как частный учитель).

12. Д-р В. Юл Герман Михаэлис. Математика.

13. Д-р мед. Хр. Альберт Вейнлиг. Физика и механика (Позже—тайный советник в мин. внутр. дел в Дрездене).

14. Д-р Вильям Джон Баркер. Английский язык (Подал в отставку после ухода Шибе, умер частным учителем).

Лассаль был учеником высшего отделения второго класса.

Список учеников.

1. Эрнст Іоганн Вильгельм Беккер, из Берлина.
2. Жозеф Луи Демлих, из Лондона.
3. Густав Эдуард Эйленштейн, из Вердау.
4. Луи Генрих Теодор Фритш из Гросс-Глогау.
5. Карл Роберт Георги, из Милау (брат тогдашнего бургомистра в Лейпциге).
6. Карл Роберт Глир, из Клингенталя.
7. Фридрих Вильгельм Бернард Карл Герман Гослин, из Оснабрюка (теперь владелец торгового дома в своем родном городе).
8. Адольф Антон Вильгельм Гассельбах, из Берлина.
9. Томас Іоганессен Гефти, из Христиании.
10. Томас Томассен Гефти, из Христиании (брат предыдущего, с 1857 года норвежский консул в Швейцарии).
11. Карл Павел Фридрих Генгстман, из Берлина.
12. Жорж Гюг, из Дрездена.
13. Эрих Фридрих Керкзиг, из Оснабрюка (теперь управляющий фортепианным магазином в Нью-Іорке).
14. Густав Рейнгард Киндерман, из Цшопау.
15. Карл Генрих Адальберт Крегер, из Фенсгаузена.
16. Фердинанд Лассаль, из Бреславля.
17. Бернард Людвиг Лессер, из Ландсберга-на-Везере.

18. Эдмунд Левизон, из прусского Линдена.

19. Өедор Манбергер, из Страсбурга (теперь банкир в Париже).

20. Іосиф Натансон, из Варшавы.

21. Эдуард Мидлетон Пиккфорд, из Гейдельберга (известный экономист и журналист).

22. Адольф Бруно Вольдемар Рихтер, из Лейпцига.

23. Эдуард Симонс, из Эльберфельда.

24. Симон Тамм, из Муггесфельде.

25. Эрнст Эдуард фон-Вельк, из Дрездена.

26. Фридрих Роберт Цандер, из Лейпцига.

Нам удалось достать школьное свидетельство Лассаля, которое, нам кажется, не безынтересно привести. Успехи превосходны, но в примечании сказано, что ученик «мог бы быть еще более исполнителен».

Вот оно:

«Лассаль, Фердинанд, из Бреславля.

Каллиграфия	1. [1])
Немецкий язык	1.
Французский язык	2.
Английский язык	2.
Арифметика	1
Изустное исчисление	1.
Рисование	3
Физика	2.
Математика	1.
Коммерческие науки	1.
История	1.
Географія	1.

Поведение:
Мог бы быть более исполнителен.
За ним следует строго следить.

Примечание директора:
Перестал посещать школу с августа 1841 г. Не пользовался уважением ни учеников, ни учителей».

---

[1]) 1—высшая отметка 5-ти бальной системы.

Из этого заключительного примечания видно, что Лассаль вышел из школы, не получив свидетельства. Он два раза, самым настоятельным образом, говорил своему отцу, что он ошибся в выборе профессии, что он неспособен быть купцом, что он хочет учиться. В этом для его отца не было ничего неожиданного, так как старый Лассаль всегда желал, чтобы Фердинанд получил университетское образование. Его родители отговаривали его от намерения заниматься коммерцией, и он против воли родителей, по собственному побуждению, отказался от «всякой эстетической жизни, чтобы стать прикащиком». Это очень важное признание; оно устраняет общепринятое заблуждение относительно молодого Лассаля. Оно помечено 3-м августа. Мы особенно указываем на это. Необходимость — боязнь, что его проделки откроются, — погнали его из Бреславля. Его объяснение, что он хочет сделаться купцом, было необходимой ложью. Пробыв в коммерческой школе лишь несколько месяцев, он откровенно сознается, что свое будущее видит не в занятиях торговлей; что он просто ухватился за первое попавшее под руку занятие, чтобы выпутаться из бреславльской сумятицы; что он надеется на случай, или, как он говорит, на провидение, которое вырвет его из конторы и откроет ему такое поприще, на каком он мог бы действовать. Он верит в свое твердое желание заниматься больше вопросами свободы, чем торговыми делами.

Уже из этих признаний видно, как быстро развивался Лассаль в последние месяцы. Здесь мы подходим к важнейшему пункту этих юношеских признаний, который оправдывает предпринятое нами издание и позволяет претендовать на внимание читателя к этому дневнику полуюноши. Мы увидим, как Лассаль, не имея еще полных 16 лет, с совершенною ясностью развивает программу своей будущей деятельности, и как в нем крепнет непоколебимое решение провести эту программу, не взирая ни на какие трудности, даже на опасность для собственной жизни.

Испытываешь какое-то странное ощущение, когда читаешь эти признания полувзрослого юноши, написанные с твердостью мужчины. Мы особенно указываем на изложенное под датами 24 и 26 августа 1840 г. и 2 февраля 1841 г.; а главное на приписку, составляющую заключение и относящуюся приблизительно к маю 1841 г.

Лассаль, который чувствует в себе аристократические склонности, несмотря на свой революционный республиканско-демократический образ мыслей (19 июля), который симпатизирует Фиеско и говорит: «родись я принцем или князем, я был бы душой и телом аристократ»,—как заурядный буржуа, питает непримиримую ненависть к аристократам и хочет нанести смертельный удар аристократии. Он хочет возвестить народам свободу, «если бы даже пришлось погибнуть в этой попытке». И он клянется надзвездным Богом. Даже своему дневнику он боится доверять свои мечты. Его друг Исидор Герстенберг должен вместе с ним сражаться и победить. «Мы должны победить в этой борьбе, которую я думаю начать Свет победит, и тьма рассеется»!

Он сознает, что, как это ни тяжело, но он должен убедить отца в необходимости еще раз переменить свою профессию, чтобы получить высшее образование. «Во мне все тверже становится убеждение, что я должен учиться, посвятить свой ум, свои силы и стремления высшему знанию, более благородным целям и, если нужно, пожертвовать собой. Боже! открой: что мне делать»?

Этот кризис продолжался лишь несколько дней. Гейман Лассаль приехал к сыну и между ними произошел решительный разговор. Лассаль с пламенным красноречием высказал перед отцом свое глубокое убеждение, что он должен бороться устным и печатным словом, должен, если это окажется нужным, погибнуть борцом за свободу. Он хочет просветить народы. Он обезоруживает все доводы предусмотрительного отца. И любопытно: в отдалении ему смутно

рисуется картина его трагической смерти. По поводу уроков фехтования он пишет: «Нельзя знать заранее, не представится-ли необходимости воспользоваться этим». И здесь, в разговоре с отцом, у него возникает мысль, что он должен погибнуть мучеником идеи. Эта мысль не страшит его. Он должен бороться, должен пасть мучеником. «Почему? Потому что божественный голос внутри меня призывает меня к борьбе! Потому что я могу бороться и страдать за благородную цель! Потому что я не хочу обманывать Бога, который дал мне силы для определенных целей! Одним словом, потому, что иначе я не могу!»

Итак, этот дневник, как ни много в нем детской болтовни и всяких пустяков, во многих отношениях весьма важен для характеристики молодого Лассаля и его агитационной деятельности и составляет важное предисловие к биографии одного из главнейших виновников современного социального движения.

После разговора с отцом дальнейшие признания Лассаля теряют характер собственно дневника, и на этом мы оканчиваем. Следующие страницы содержат описание каникулярного путешествия и наполнены цитатами из разных писателей, которые Лассаль сопоставляет.

В заключение мы заметим только, что текст второй части изложен нами так же добросовестно, как и первой. Неважное мы пропускаем, слишком неприличное смягчаем, в остальном же главное содержание остается совершенно неизмененным.

Особенной благодарностью мы обязаны д-ру Карлу Вистлингу, из Лейпцига, который дал нам весьма ценные сведения о наличном составе и состоянии лейпцигской коммерческой школы.

ЧАСТЬ II.

Ученик коммерческой школы в Лейпциге.

С мая 1840 г. до мая 1841 г.

Как ни сильно желал я выбраться из Бреславля, мне все-же тяжело было расставаться с доброй, нежной матерью, с моей любимой сестрой и со всеми моими кузинами, тетками и дядями, которые пришли посмотреть на меня в последний раз; тяжело было прощаться с нашими людьми: они при этом почти плакали. Я должен был покинуть также и Исидора, моего Пилада, и только мой дорогой отец остался со мной. «Но и он проводит меня только до места моего назначения, а там я прощусь и с ним», думал я, и мои глаза наполнялись слезами.

Я не описываю моего пребывания в Берлине, богатого удовольствиями всякого рода, не говорю о достопримечательностях, которые осматривал, скажу только, что я не переживал еще таких счастливых дней, как в Берлине. Я переходил от удовольствия к удовольствию, из одного театра в другой. Известный шелковый фабрикант Іоель Мейер, человек очень богатый и с выдающимся умом, уговорил отца отдать меня в Лейпциг.

Итак, отец сопровождал меня в Лейпциг. На 4-й день после нашего пребытия я отправился к директору Шибе, чтобы записаться. Отец еще не нашел, куда бы поместить меня на подходящих условиях. Заниматься в школе очень легко, и мне удалось уже отличиться. Все носит печать дру-

жественных отношений и обличает лживость злых предсказаний Адольфа Диренфюртса, которые он повторял мне также и в Лейпциге.

До сих пор я проводил здесь время очень весело, и не могу понять, как дал запугать себя Самуилу. Между прочим, отцу предложили поместить меня у известного Гандера, директора реального училища в Лейпциге. Мы были у него (он живет в великолепном саду за городскими воротами), и все, что мы видели—сам Гандер, его жена, дети, комнаты—привели нас в восхищение.

До сих пор я не чувствовал особенной симпатии ни к одному из предложенных нам пансионов, но этот мне очень понравился. Г. директор обещал отцу написать о цене, и мы расстались.

На следующий день была получена записка от директора; он желал громадную сумму в 400 талеров. Г. Роте, которого рекомендовал отцу директор Шибе, просил только 250. И это было очень много для моего отца. Но отцу очень понравилось у Гандера: он вправе был думать, что там я лучше всего устроюсь, и он сделал то, чего я никак не мог ожидать. Его нежность ко мне победила его сомнения, и, как это ни было ему тяжело, он сошелся с Гандером на 300 талерах.

С каждым днем я убеждаюсь, как добр мой отец, которого я так сильно обидел. Я живу уже 10 дней у Гандера, и здесь мне очень хорошо.

Его жена—весьма симпатичная, добрая и притом умная женщина; он сам—также хороший человек. Мое положение в этом доме поистине превосходно. Со мной обращаются не как с 15-ти-летним мальчиком, но как со взрослым 20-ти-летним молодым человеком. Деньги, которые оставил мне отец, вышли, и я просил прислать мне еще.

Теперь я буду писать день за днем.

Четверг, 21 Мая

Вечером я кончил «Wahlverwandtschaften» [1]).

---

[1]) Романъ Гете.

Мне кажется, я не мог бы полюбить эту Оттилию, как ни расхваливает ее автор. Я вижу в ней самый обыкновенный характер.

Затем я прочел жене директора «Clavigo»[1]).

Странно, что в природе встречаются такие крайности, что она любит создавать существа такие сильные и в то же время такие слабые. Этот человек, который силой своего ума так высоко поднялся над толпой, гений которого вызвал удивление целого королевства, который стал великим, благодаря своим деяниям,—этот человек, с другой стороны, был так слаб, так мелочен, так доволен! Правду говорят французы: «Les extrêmes se touchent». [2])

Вечером брат жены директора принес мне отчет о положении евреев в Дамаске. Ужасно читать, ужасно слышать! Волосы поднимаются дыбом, и все чувства превращаются в ярость. Народ, который переносит это, ужасен: он должен или мстить, или терпеть. Поистине ужасно следующее место отчета: «Евреи этого города терпят притеснения; как только могут переносить их эти парии земли без страшного отпора». Даже христиане удивляются нашей неподвижности, тому, что мы предпочли пытку,—восстанию и смерти на поле сражения. Разве притеснения, заставившие швейцарцев восстать, были сильнее?

Трусливый народ! ты не заслужил лучшей участи! Червь, попираемый ногами,—и тот извивается, а ты склоняешься все ниже. Ты рожден рабом!

Суббота, 23 Мая.

Сегодня школьная библиотека была открыта. Я хотел взять что-нибудь из Корнеля. Но Шибе полагает, что мы не поймем его. Да, конечно, ученики его 3-го класса не поймут.

Я стал таким ребенком или так ребячлив, так опустился или так вырос,—что опять нахожу удовольствие в игре в мяч.

---

[1]) Драма Гете.

[2]) Крайности сходятся

Воскресенье, 24 Мая.

Вечером, после того, как мы долго болтали о мопсах и старых девах, я сказал (не знаю, как я перешел к этой теме), что теряю бесполезно год, что я слишком зрел для 2-го класса, и что в третий—приняты дети и невежды. Жена директора согласилась со мной и посоветовала обратиться к Шибе или написать ему через моего отца.

Я отверг и то, и другое. На предложение проэкзаменовать меня, Шибе мог не обратить внимания и осмеять меня, отцу же я не хотел первый подавать этой мысли. К чему? Ведь она не может осуществиться!

Мы остановились на том, что к Шибе обратится директор [1]). Но когда последний пришел домой, он доказал мне, что это не принесло бы никакой пользы—в виду своенравия и деспотизма Шибе; он обещал повлиять на Шибе через Флюгеля и Феллера.

Вторник, 26 Мая.

Когда я спросил сегодня Шибе об одном учителе английского языка, он запретил мне заниматься по-английски. Тиран!

Нам роздали свидетельства.

Те, у кого были лучшие, не получили их; директор отослал их родителям. В числе их было и мое. После, по нашей просьбе, Шибе показал нам копии. Мои отметки были очень хороши. Но Шибе сказал мне:

— У тебя я сделал еще пометку. У тебя слишком большое самомнение! Ты хочешь читать Вольтера, не понимая его (Так?). Ты думаешь, что ты—Бог-весть, что знаешь.

— Прошу извинения,—возразил я,—я могу ответить словами Сократа: я знаю только то, что ничего не знаю.

Это было принято дурно.

— Купец, который говорит о Сократе и Цицероне,—сказал Шибе,—скоро обанкротится.

Какая глупость!!

---

[1]) Т.-е. Гандер.

Я ушел раздосадованный. Внизу я встретил Гейшкеля, который относится ко мне хорошо. Я рассказал ему об этой сцене.

— Я мог бы заранее предсказать вам: директор не любит этого. От меня вы имеете лучшую в классе аттестацию

Среда, 27 Мая.

Сегодня я узнал от директора Гандера, что Шибе сказал ему что-то, но что именно—он не говорит мне. Он хочет сначала сам удостовериться. Из его слов и слов его жены я понял только, что Шибе рекомендовал по отношению ко мне строгость. Будто я нескромен, высокомерен и позволяю себе высказывать собственные мнения Ему очень неприятно, что я хочу читать Вольтера, что сказал ему: «я знаю только то, что ничего не знаю». Директор советовал мне остерегаться учеников, так как я могу высказать мнения, которые наверное, дойдут до Шибе. Я не должен быть откровенным ни с одним из учеников. О, Адольф, Адольф!

На следующее утро меня позвал Шибе и объявил, что хочет перевести меня, вместе с другим учеником, во 2-й класс. Был ли кто счастливее меня!?

Благодаря добавочным работам, которые я теперь имею, и массе занятий, я не мог регулярно вести свой дневник: к тому же, я потерял свой ключ и должен был приобрести новый За это время случилось много важного. Мое положение в школе и мой образ жизни совершенно изменились. Медовый месяц моих отношений к директору Гандеру уже прошел: я израсходовал много денег и т. п

Если мне придется еще вернуться к этому, я изложу все подробно.

Теперь опять начну мои ежедневные записи.

Четверг, 18 Июня.

Я никак не могу уяснить себе, почему надо мной смеются какой-то Беккер и какой-то Натансон. Я ли смешон, или они глупы?

Моя французская работа помечена: «посредственно», а работа Мевеса: «порядочно», хотя в ней столько же ошибок. Если справедливо, как я подозреваю, что ..

Пятница, 19 Июня.

Сегодня я получил от Исидора письмо, полное остроумия и любви. Он сообщает мне печальное известие, что мы ничего не выиграли. О судьба, судьба, за что ты так преследуешь меня? Что сталось с мечтой моей сестры? Исидор прислал мне 1 талер, так как я писал ему о своей нужде в деньгах. Он пишет, что сам сидит на мели, так как потерял на лотерее 10 талеров.

Деньги меня не радуют: слишком мало, чтобы как-нибудь шикнуть. За полтора месяца я издержал 13 талеров. Что мне делать с одним? Но, как доказательство его любви, это меня глубоко тронуло.

Wem der grosse Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein? [1])

Это—отрадное чувство: иметь друга, который может понять тебя. И я имею такого друга в моем Исидоре.

Сегодня я послал домой письмо. В нем—целая статья о плавании.

Суббота, 20 Июня.

Сегодня, после обеда, я отправился на Шиммельстейх [2]). Это составляет для меня особенное удовольствие, и Исидор в праве завидовать мне, что у меня есть место, где я могу свободно предаваться меланхолии. Было тяжело ехать против сильного ветра, который вертел мою лодку волчком.

Меня глубоко печалило, что старик уволен за то, что сильно пьет, по словам его бессердечного хозяина. Этот остаток великой армии... Он всегда радует меня, и если бы

---

[1]) Кому выпало на долю великое счастье быть другом друга?

[2]) Увеселительное место на острове Buenretiro, посредине громадного пруда в бывшем имении Schimmelsgut. На этом пруде катаются в лодках, а зимой на коньках. Цех лейпцигских рыбаков ежегодно устраивает здесь «Fischerstechen», излюбленное народное гулянье.

я сейчас слышал его восторженные рассказы о Наполеоне, я сам поддался бы этому восторгу. Но теперь старик далеко — может быть, голоден и не знает, где преклонить голову.

Эта мысль испортила мое радостное настроение, и опять явилось обычное, тяжелое предчувствие, что со мной что-то случится.

Вследствие сильного ветра я не мог хорошо управлять лодкой, и меня постоянно прибивало к берегу, где ветви деревьев цепляли и запутывали меня. Моя лодка каждую минуту попадала на мель, постоянно качалась, и я был на волосок от того, чтобы опрокинуться.

Воскресенье, 21 Июня.

Сегодня я получил письмо от отца. С какой поспешностью я распечатал его! Я и не предчувствовал его содержания. Многочисленные, но совершенно неосновательные упреки! Каждый из них глубоко поразил меня. Сначала отец жаловался, что мои письма очень коротки. Но единственное короткое письмо, это—доставленное ему Бурхардтом [1]), а остальные содержали по нескольку листков. Затем он писал, что я читаю его письма небрежно, отвечаю рассеянно, я не прислал ему стихотворения и распределения занятий, и до сих пор еще не ответил, возвратил ли 3 талера, о чем он спрашивал меня уже 3 раза.

А между тем, напротив, я писал ему и спрашивал об этом 3 раза, не получая никакого ответа, и только спустя 14 дней, после того как я был уже не в состоянии заплатить, получил от него приказание.

Но больше всего отец винил меня вот в чем. Я говорил Бурхардту, что мог бы приехать в Бреславль на каникулы. До сих пор я не знал, что детям можно вменить в преступление желание видеть своих родителей. Да я сам и не писал отцу об этом. Зная только по наслышке, он принял это близко к сердцу и уже попрекает меня. Я мог бы ответить отцу его же словами: «справедливо ли это?»

[1]) Бурхардт, проездом, навестил Лассаля в Лейпциге

Прочтя все письмо, я заплакал. Я чувствовал себя таким одиноким! Это настроение поддерживалось во мне еще тем, что я читал стихотворения Гейне, которые всегда так глубоко волнуют меня.

Я совсем расплакался, читая стихи:

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели.

Меня так тронула любовь и верность старика-воина своему великому императору! Гейне так мастерски изобразил его печаль в словах:

В плену император, в плену!

Я не знаю, чему здесь больше удивляться: Наполеону, гренадеру или Гейне, этому великому поэту?

Среда, 24 Июня.

Сегодня празднуется юбилей изобретения книгопечатания. Рано утром ко мне пришел Филиппсон [1]). Я продал Фрису мои старые, плохие часы за 20 грошей и мы с Филиппсоном пошли смотреть процессию. Мы поместились на рынке, окруженные торговками луком. Остроту их локтей я имел удовольствие испытывать в течение всего утра. Я охотнее связался бы с легионом чертей, чем с одной из подобных «дам рынка». Я поистине был достоин сожаления. Моя шляпа была мокрехонька от непрерывного дождя, а потом покоробилась под лучами солнца. Я должен был терпеливо сносить толчки со всех сторон и отвратительный воздух.

Наконец, показалась процессия, которую я ждал с таким нетерпением. Но мои ожидания были обмануты. Впереди шли школьные учителя в фраках и брюках, взятых на прокат, а за ними пестрые ряды глупых учеников. За ними шел хор музыкантов. «Двенадцать тощих музыкантов шли впереди, слепая баба со скрипкой, спотыкаясь, шла позади». Общее впечатление портилось тем, что каждая группа шла отдельно и нужно было ждать ровно полчаса, пока не пока-

[1]) Филипп Август Филиппсон, из Касселя, в 1840 г. был учеником 3-го класса.

жется следующая. Музыкантам следовало бы играть: «Медленно вперед, медленно вперед, чтобы австрийские ратники не отставали». Далее следовали студенты, похожие больше на испанских рыцарей и наемных слуг, чем на студентов. Лучшее впечатление производил сенат во главе с rector'ом magnificus'ом, одетым в горностай. Недурны были следовавшие затем наборщики, которые in conspectu populi [1]) набирали печатали и отливали буквы. Хороша также была статуя Гуттенберга. Я возвратился домой полузадавленный, помятый.

С Филиппсоном я заключил сделку: обменял его новый атласный галстух на мою старую трость перечного тростника, с придачей 12 грошей, которые я остался ему должен. Осел! Гейне прав, говоря: «Мои лучшие друзья — дураки. Если я проучу одного из них, я вне себя от радости и тотчас же могу сосчитать, какой гонорар могу получить с подобного дурака. Они должны безвозмездно служить мне моделью».

Пятница, 26 Мая.

Сегодня, после обеда, я отправился с Фрицем в Пфаффендорф. Так как у меня не было денег, то monsieur le directeur дал мне талер, да еще у Фрица я занял 8 грошей. Мы недолго ждали начала скачек. В это время мы потеряли друг друга. До половины девятого я безуспешно искал Фрица.

Я скучал, но все же, пока, не истратил ни одного су.

В одном из ресторанов я встретил двух учеников коммерческого училища, Крегера и Глира, полупьяных. На столе перед ними стояла пустая винная бутылка и полтора стакана грога. Вскоре к нам присоединился Зигмунд. Мы сложились по 12 грошей и приказали подать бутылку шампанского. Зигмунд скоро ушел, а мы, за недостатком денег на шампанское, выпили бутылку люнеля.

Крегер, который был уже почти пьян, выпил еще крепкого грога. Мы адски шумели и беспрестанно пили [illegible]

[1]) На глазах у публики.

за процветание нашей школы. Затем мы отправились на фейерверк. Пьян был я, пьянее Глир, но пьянее всех Крегер, длинноногий олух. Меня мучило чувство раскаяния, так как я истратил все мои деньги. Осталось только 4 гроша.

Мои золотые дукаты!
Скажите: куда вы пропали?

Так напевал я, а Крегер кричал:

— Я не хочу люнеля, давайте шампанского!

Глир, у которого тоже порядочно шумело в голове, старался сдержать его. Мы подошли к трибуне. Крегер вырвался и убежал от нас. Как я узнал после, его подобрал где-то полицейский и доставил домой. Глир сидел и страдал от припадков морской болезни. Шампанское сказалось и на мне, но только совсем иначе. Я пришел в поэтическое настроение. Я кружился и кричал:

— Да здравствует Бахус! Где вы, Менады? Сюда—с тирсом, обвитым виноградными лозами! Вперед! Празднуйте вакханалию! Да здравствует шампанское! Да здравствуют женщины! Наполните кубки! Явись, Аполлон, явись, ней. вдохновитель поэтов! Ты, ведь, мне подвластен, брат Аполлон, вместе с громовержцем Юпитером. Но где же ты, старый Силен?

Я ликовал:

— Кто не испытывал никогда хмеля, тот не бравый мужчина!

Раздался чей-то голос:

— Чорт возьми, милостивый государь! Не наступайте мне на ноги!

Рассудок вернулся ко мне, хмель исчез. Я познакомился с господином, которому отдавил ноги, и узнал, что это был башмачник. Мы снесли полуспящего Глира домой. После этого, чтобы вознаградить башмачника, я отправился с ним в café français и истратил здесь последние 4 гроша. Не будь я учеником коммерческой школы, я написал бы прекрасное стихотворение о шампанском, но...

Суббота, 27 Июня.

Мне очень хотелось пойти в театр, так как г-жа Нейман Гайцингер выступала в пьесах: «Stille Wasser sind tief» и «List und Phlegma» [1]). Но где достать денег? Я взял свои книги 3 класса, которые мне были не нужны, и снес их с Фрицем к приятелю-антикварию. Он дал мне за них 10 грошей, и вечером я был в театре.

— —

Воскресенье, 28 Июня

Сегодня опять пришло от отца письмо, по plein d'amour, хотя он и не получил еще моего письма через Цадига.

Вечером директор взял меня с собой в театр. Больше всего мне понравился, или лучше сказать, глубже всего подействовал на меня «Натан Мудрый».

Понедельник, 29 Июня.

Сегодня за столом зашла речь о Гейне. Директор, по обыкновению, резонировал:

— Так как, если... однако...

Вторник, 30 Июня.

Сегодня—день рождения Фрица. Я должен был ему 12 грошей, столько же Филиппсону, за сюртук должен был уплатить 8 грошей и, кроме того, хотел подарить Фрицу какую-нибудь безделушку. Поэтому я пошел с моим толстым Шеллером к антикварию. Пробило уже ¾ восьмого, а в 8 я должен был быть в Функенбурге, у д-ра Феллера. Мне трудно было таскаться с толстыми книгами. Тогда я быстро решил. Книги были немного разорваны, и я отдал их живущему напротив переплетчику. Когда я вернулся домой, жена директора—не помню как—завела со мной очень неприятный разговор.

---

[1]) Первая Schröder'a «В тихом омуте черти водятся»; вторая — Angely: «Хитрость и хладнокровие».

В пятницу вечером, когда я вернулся домой полупьяный, я сказал ей, что у меня нет ни гроша; однако, в субботу я был в театре. Ей хотелось узнать, откуда я достал деньги: она не хотела верить, что я их занимаю. Она забросала меня язвительными фразами—вроде того, что я тайком произвожу разные меновые сделки... «Известно, как поступают молодые люди, когда к ним приезжает отец»... Вероятно, она подслушала мой разговор с Фрицем. Она сказала также, что хочет сообщить что-то Ширгольцу о продаже книг.

Эй, эй, сударыня! Не слишком ли уже это? Тогда и я поступлю иначе!

Четверг, 2 Июля.

Сегодня у меня был серьезный разговор с Мёвесом. Он убеждал меня—и я этому верю—что моя болтовня иногда навлекает на меня неприятности и вредит мне.

Пятница, 3—Суббота, 4 Июля.

Ничего нового, кроме того, что я начал читать сочинение Эльснера: «Знаменитые дни в жизни Наполеона». Какой сильный язык, какое негодование против деспотии тиранов! Почти не верится, чтобы у немца любовь к свободе была так сильна. Превосходная книга!

Воскресенье, 5 Июля.

Сегодня получил письмо от моего доброго отца и, вместе с ним, новое доказательство его любви. Директор был очень тронут письмом, которое он получил: он уверяет меня, что в мире нет другого такого отца, как мой. Это совершенная истина.

Однако, это не помешало директору Гандеру написать моему отцу, что я нескромен, дерзок, нерадив, заносчив.

И так, я попрежнему не могу порадовать отца.

Понедельник, 6 Июля.

Ах, я не знаю, что со мной! Меня охватывает такая боязнь за отца, мать и сестру, что я заливаюсь слезами всякий раз, когда думаю о моей дорогой родине. Ах, отец мой! если бы ты знал, какая тоска закрадывается в мое сердце, какое страстное желание овладевает мной, то позволил бы мне приехать в Бреславль. Я увидел бы тебя, дорогой мой, мою мать, сестру и друзей. Здешний воздух душит меня, здесь я не могу чувствовать себя хорошо. Я встречаю всякого рода недоброжелательство. Никого, к кому бы я мог припасть на грудь!

Ах, родные мои, справедливы слова отца, сказавшего, когда я так хотел покинуть Бреславль, что я еще часто буду желать возвратиться.

Вторник, 7 Июля

У меня все больше открываются глаза. Теперь жена директора представляется мне в совершенно ином свете. Ее обращение со мной стало враждебно. Обстоятельства резко изменились. За каждый пустяк она готова ругаться и натравляет на меня своего супруга.

О женщины, женщины! кто поймет вас?

А я был так добр!

Среда, 8 Июля.

Что я слышу! Правда ли это?

Правда, ужасная правда! Филиппсон сообщил мне, что жена директора недавно сказала у Темпеля, в присутствии его жены, 4 друзей, его (Филиппсона) и Пикрорда, что я продаю свои книги! Достоверно она этого не утверждает, но она постарается разузнать и, если это подтвердится, сообщит об этом Ширгольцу.

И это та самая женщина, которую я так сильно любил! О, как я раскаиваюсь в том внимании, которое я ей оказывал и которое исходило из глубины моего сердца. Но я могу еще простить ее. Может быть, она сказала это между прочим, без злого намерения. Я узнаю это. Но если нельзя будет

оправдать ее, тогда пусть это запечатлеется во мне огненными буквами, и пусть горит во мне неугасимая ненависть, пока я не найду случая страшно отомстить. Клянусь Богом и чортом!

Она оправдана. (Приписка позднейшего времени [1]).

Четверг, 9 Июля.

Это правда, и ужасно, что это правда, и эта правда ужасна. И даже еще больше! Я слышал от Филиппсона—и в этом нельзя сомневаться — что она сказала у Темпеля директору, что я бью детей, что я — о лживая женщина!— обращаюсь с ней непочтительно; и это все она сделала для того, чтобы восстановить против меня директора.

А со мной она так добра, так мило улыбается мне...

О, как это верно, что женщину не скоро разгадаешь!

Пятница, 10 Июля.

Директор прошелся на счет детей. Итак, повидимому, правда, что она оклеветала меня!

Fort in meine stille Kammer!
Mich verzehret noch die Gluth.
Fluch der Welt und ihrem Jammer!
Fluch der ganzen Menschenbrut! [2]

Кому же верить, если эта женщина, которую я так сильно любил—искренно любил, а не льстил—если эта женщина обманула меня! Однако, Гандер относится ко мне по прежнему: он добр и прост. Но —к чорту! К чему все эти рассуждения, когда я так обманут! Филиппсон выказывает все подлые стороны своего характера и постоянно грозит мне, что он расскажет об этом в школе. Негодяй! Я швырну ему в физиономию его деньги, плюну и не стану говорить с ним ни слова.

---

[1]) Другими почерком и чернилами.

[2]) Прочь — в мою тихую комнату! Меня еще пожирает жар. Проклятие миру с его страданиями! Проклятие всему человеческому роду!

Воскресенье, 12 Июля

Был в театре. Лёве играл Гамлета. Меня поразили слова:

— Отмечу, что некоторые люди могут совершать злодеяния, улыбаясь.

Справедливость этих слов так подходит к моему положению, что я мог бы громко повторит их. Лёве играл превосходно и дал Гамлета, о каком только мог думать Шекспир. Какая ненависть, какая жажда мести, какое презрение ко всему жалкому человеческому роду. «Быть или не быть», говорит Шекспир. «Переносить ли, или восстать и кончить разом?»

«Не быть!»—кричу я.

«Не быть!»—повторяет во мне каждая жилка.

Понедельник, 13 Июля.

Не знаю: как это случилось, что мои одноклассники относятся ко мне так скверно? Я никого не оскорблял и старался сделать приятное каждому. Если бы мой Исидор и некоторые другие не поручились за меня, я сам пришел бы к глупой мысли, что я дурак.

Суббота, 18 Июля.

Наступили каникулы. Все ученики нашей школы разъехались: кто к родным, кто в горы, кто в большие города. Только я, один я осужден оставаться здесь... Целых 4 недели! Отец разрешил мне плаванье. Но, если я 4 недели буду упражнять я в этом, то, в конце концов, превращусь в утку.

Воскресенье, 19 Июля.

Был в театре. Лёве играл Фиеско. Какой величественный характер—этот граф Лаванья. Хотя я настроен революционно-демократически-республикански, но чувствую, что на месте графа Лаванья я поступил бы также и не удовольствовался бы ролью первого гражданина Генуи, а протя-

нул бы руку к королевской короне. Из этого следует, если рассмотреть дело получше, что я просто эгоист.

Родись я принцем или князем, я был бы и душой и телом аристократ, но так как я сын простого бюргера, то буду в свое время демократом.

Понедельник, 20 Июля.

Сегодня я читал шедевр Лессинга: «Натан Мудрый». Можно себе представить, что я испытывал, видя, как мастерски этот великий художник защищает мой народ. Я перечитал его сто раз.

Вторник, 21 Июля

От Исидора нет еще писем!

Четверг, 23 — Пятница, 24 Июля

Ничего особенного, кроме того, что я написал отцу письмо с просьбой прислать денег. Директор дал мне уже 10 талеров, от отца я получил 7; и это все за два с половиной месяца. Не знаю, как быть с рассчетом к Михайлову дню.

Читал письма Бёрне; они мне очень понравились. Если посмотреть на эту тюрьму—Германию, как в ней попираются ногами человеческие права, сердце сжимается при виде глупости этих людей.

Воскресение, 26 Июля.

Мне кажется, что Филиппсон — большой лгун. Я начинаю сомневаться в том, что он мне рассказывал о жене директора. Я, все-же, стянул с него один талер. Был с Фрицем на Шиммельстейхе; он имел несчастье упасть два раза в пруд и разорвал свои новые, черные брюки. Sic transit gloria mundi!

Вторник, 28 Июля.

Сегодня вернулся директор. Он подарил мне красивый стакан, чему я был очень рад.

Среда, 29 Июля.

Маленькая Мария опасно больна. Все окружающие, а также и доктора, отчаиваются в ее выздоровлении; но я не теряю надежды. С некоторого времени жена директора в отношении ко мне—воплощенная доброта. Итак, я поступил с ней несправедливо, а Филиппсон постыдно ее оклеветалъ. Nous verrons!

Четверг, 30 Июля

Опять—эти нелепые истории, будто евреи употребляют христианскую кровь. В Родосе и Лемберге то же, что и в Дамаске. Тот факт, что во всех уголках мира выступают с подобными обвинениями, мне кажется, предвещает, что скоро наступит время, когда мы действительно освободимся пролитием христианской крови. Aide toi et le ciel t'aidera. Игра началась, и дело за игроками

Суббота, 1 Августа.

Сегодня был первый урок плаванья. Много труда и пота стоило мне добиться уменья. Я плаваю ежедневно и очень часто посещаю Шиммельштейх. Это удовольствие, хотя и очень солидно, но совсем не дешево. Вообще я потратил много денег, хотя не посещаю кондитерских и не играю на биллиарде. Со времени отъезда отца я израсходовал на свои потребности 20 талеров карманных денег; не малую роль играло здесь menu frais. Но что-ж делать? Сегодня я написал отцу и Исидору.

Воскресенье, 2 Августа.

Читал Xenien [1]) Гете. Между его «Пророчествами Бакиса» следующее четверостишие показалось мне очень правдивой эпиграммой:

> Lange haben die Grossen der Franzen Sprache gesprochen,
> Halb nur geachtet den Mann, dem sie vom Munde nicht floss.
> Nun lallt alles Volk entzückt die Sprache der Franken.
> Zürnet, Mächtige, nicht, was ihr verlangtet, geschieht [2]).

Понедельник, 3 Августа.

Читаю Вильгельма Мейстера. Удивительно! Я нахожу, что в Мейстере—мой собственный портрет, если не считать некоторого несходства. И я три месяца тому назад стоял на этом распутьи. И мое сердце бьется только для искусства которое мне так кажется—я должен был оставить для того, чтобы заняться ремеслом. Но какая разница! Его старались отвлечь от его, так-называемых, «грез» отец, мать и друзья, чтобы он занялся торговлей. Но он устоял и посвятил себя искусству. Я же добровольно оставил искусство, чтобы сделаться торговцем, хотя мои родители отговаривали меня и побуждали к научным занятиям. И еще тогда я знал это.

Вообще, я слишком рано очутился на распутьи, и если бы не родители, то, все равно, меня принудило бы к этому мое тогдашнее отвратительное положение, из которого я хотел выйдти какой-угодно ценой. Я видел, что дальше продолжать ложь было невозможно, и хотел оставить Бреславль и гимназию раньше, чем откроется обман. Но он открылся, и отступать было слишком поздно.

В интересах справедливости я должен сказать, что никто не заставлял меня отказываться от общественной, эстетической или политической деятельности. Я просто сам схватился за первое попавшееся под руку занятие. Я твердо

---

[1]) Сатирические эпиграммы.

[2]) Долго высокие лица держались наречья французов,
Чтя вполовину того, чьи уста не болтали на нем.
Ныне ж народ восхищенный лепечет наречием франков.
Сильные мира, свершилось, чего домогалися вы!
(Пер. А. Яхонтова).

верю, что случай или, лучше сказать, провидение вырвет меня из конторы и откроет мне такое поприще, на каком я мог бы действовать. Я верю в случай и в мое твердое желание иметь дело скорее с музами, чем с главными и черновыми книгами, знакомиться с Элладой и Востоком, нежели с индиго и свекловицей, с Талией и ее жрецами, нежели с торговцами и их приказчиками, интересоваться более вопросами свободы, чем торговыми делами.

Среда, 5 Августа.

Случилось то, чего так боялись. Славная Мария сегодня в 5 часов утра умерла. Завтра вскрытие и в пятницу похороны.

Четверг, 6 Августа.

Сегодня директор открыл мне следующее:

— Лассаль,—сказал он,—на ваше пребывание в моем доме я смотрю, как на указание свыше. У меня никогда не было мысли держать пансионеров; и вы поселились у меня прежде, чем я опомнился. Вы сами знаете, как тесно у нас. Моя Тони, бедный больной ребенок, спала раньше в вашей комнате, а теперь должна была спать в передней. Летом это еще ничего; к зиме я думал освободить местечко, но ни я, ни жена не в состоянии сделать это, так как все занято. Я не мог бы оставить Тони мерзнуть в передней; поэтому я решил написать на рождество вашему отцу, что не могу больше держать вас у себя, как мне это ни неприятно. Но вот сам Бог устроил вас: Мария умерла, и место освободилось.

Я имел теперь многое, о чем следовало подумать.

Пятница, 7 Августа.

Был в театре; шла пьеса: «Коварство и любовь» [1]). Мне также стоило большого коварства достать 8 грошей.

---

[1]) Драма Шиллера.

Воскресенье, 9 Августа.

Был в театре на «Гугенотах». Музыка поистине великолепна! Песня старого Марселя заставила меня трепетать. Всякий раз, когда он кричал: «Пифф, паффф, пуфф!» и страшно жестикулировал, его седые волосы, казалось, краснели от гнева, и вся его фигура имела что-то демоническое. И затем — эти стихи! [1]). Кто слушал это и представлял себе те времена, тот трепетал.

Гольцмиллер в роли Рауля не удовлетворил меня. Он был рассеян и постоянно смотрел в ложу первого яруса. Вероятно, там был предмет его любви. Я ожидал, что он тем лучше споет прекрасный романс о «паре глаз», но я ошибся. Он пел без огня и экспрессии, хотя достаточно красиво.

Его пение:

> O Lust, o Lust,
> Zu ruhn an ihrer Brust! — [2])

было приятно и мелодично; мимика была выразительна. При этом он все время смотрел в ту ложу. Вероятно, эти слова предназначались сидевшей там красавице.

М-lle Шлегель прекрасно спела партию Валентины.

Музыка этой оперы действовала на меня увлекательно. Некоторые места увертюры я мог бы слушать без конца. Мне вспомнилось то прекрасное время, когда Шифф играл эти мелодии у нас дома.

Встречу ли я еще один раз в жизни этих людей?..

Понедельник, 17 Августа.

Сегодня начались занятия. Я чувствую себя лучше, чем перед каникулами. Глупые придирки прекратились. Я никуда не ездил и потому подал описание путешествия от угла своей комнаты до двери.

---

[1]) Мы пропускаем выписки из «Гугенот».
[2]) О, радость, о, радость — покоиться на ее груди!

Вторник, 18 Августа.

Сегодня получил письмо от Исидора. Он, по моей просьбе, передает историю своей любви. Очень сантиментально.

Так как у него вышли неприятности с патроном, который приходится *ей* родственником, то его гамбургский дядя подыскал ему место в Манчестре, куда Исидор в скором времени и уезжает.

Итак, целые тысячи миль отделяют от меня лучшего друга, моего второго *я*.

Среда, 19 Августа.

С Фрицем у меня установились прекрасные отношения. Это очень добрый, славный малый, у которого нет недостатка и в уме.

Четверг, 20—Пятница, 21—Суббота, 22—Воскресенье, 23 Августа.

Ничего особенного—кроме того, что я написал домой письмо и в нем два стихотворения по поводу свадьбы моей кузины Доротеи Фридлендер с г. Шведер, которая состоялась 23-го. В воскресенье я, по обыкновению, ходил с Фрицем на Шиммельстейх.

Понедельник, 24 Августа.

Я страшно тоскую по своим родителям. Теперь во мне борются два противоположных чувства. Мне хочется броситься в свет и собственными руками завоевать себе счастье. На-ряду с этим бывают такие моменты, когда я ничего так страстно не желаю, как мирного покоя, дома, в кругу своих старых знакомых.

Борются во мне еще и другие крайности: должен ли я быть умен и добродетелен, должен ли я соображаться с обстоятельствами, льстить великим мира сего и с помощью интриг изыскивать выгоды и создать себе положение, или же я должен преклоняться только пред справедливостью и добродетелью, не обращая внимания ни на что другое?

Нет, я хочу провозгласить свободу народам, хотя бы мне пришлось погибнуть в этой попытке. Клянусь надзвездным Богом! И—проклятье мне, если я нарушу клятву!!!

Alle Menschen, gleich geboren,
Sind ein adliges Geschlecht [1].

О, Франция, страна моих грез и моих желаний! как меня влечет к тебе! Ты обитель свободы, которую ты завоевала!

Вторник, 25 Августа.

Я смотрю теперь на коммерческую школу совсем иными глазами. Большинство моих товарищей выходят. Нас во втором классе 36, из них не останется и 10: остальные на пасху оставляют школу. В то время как в 3 классе бывает постоянно 40 учеников, а во 2-м—36, в первом никогда не бывает больше 10. После 2-х-летнего пребывания учеников в школе, отцы их убеждаются, что надежды их совершенно не оправдались.

Я хочу, я смогу убедить отца. Во всяком случае, я попытаюсь это сделать и скажу ему все напрямик.

Среда, 26 Августа.

Вообще мне неприятно, что я не учился дальше. Теперь мне ясно мое желание быть писателем. Да, я хочу выступить перед германским народом и перед всеми другими, и пламенными речами призвать их на борьбу за свободу.

Из Парижа, этого приюта свободы, я, как Берне, обращусь ко всем народам... Но каких только препятствий не поставил я сам себе на пути! Как будут издеваться мои враги над сбежавшим торговцем, который променял аршин на перо. Даже мои приверженцы будут бояться довериться мне—«приказчику».

«Рыцарь аршина!» зашипят из всех углов.

---

[1] Все люди равны по рождению и все благородны.

Суббота, 29 Августа.

Сегодня должна была быть стрельба в чучела. Так как она не состоялась, то я пошел с Беккером и Гассельбахом в Голис и оттуда в Розенталь.

Беккер, кажется, как я сегодня заметил, очень умен, и это даст возможность сойтись с ним. Я посетил его вечером, и мы были очень откровенны.

Вторник, 1 Сентября.

Приехал Исрод. Кто опишет мою радость! Сам я не могу этого сделать. К сожалению, она была мимолетна, как и все радости человеческой жизни. Уже в среду рано утром он уезжает.

Гандер встретил его радушно; я признаю это с благодарностью.

Вообще мне во многих отношениях лучше, чем какому-либо другому ученику нашей школы. Если бы только он был менее капризен и не так невыносим!

Среда, 2 Сентября.

Сегодня у меня с Курбасье (учитель Курвуазье) произошел спор, который мог бы окончиться плохо.

Мне совсем не нравится коммерческое училище, и я жалею от всего сердца, что я здесь. Много денег потрачено напрасно. Если бы я, действительно, хотел сделаться купцом, я мог бы брать частные уроки, и в год научиться большему, чем здесь в 2 года, и с гораздо меньшими издержками.

И не я один, а все ученики жалеют, что они попали сюда.

Воскресенье, 6 Сентября.

Сегодняшний день должен быть важен для меня по своим последствиям. Директор бывает крайне неприятен своими шутками. Он постоянно меня называет «он» и дает мне щипки. Филиппсон, который был однажды свидетелем этого, постоянно подсмеивается надо мной. Сегодня директор сде-

лая то же; но я, не желая быть побитым даже в шутку, заявил ему спокойно, но строго:

— Господин директор, не забывайтесь.

Эти слова обидели его.

— Погоди, я тебя прижму, ты пожалеешь об этом! Прижму так, как только могу!

Боже мой! это—тот самый человек, который обещал обращаться со мной любовно. Прижимать! Я знаю, что отец наказывает своего ребенка, но прижимать! Намеренно отравлять мне жизнь! Это уже враждебность, и соответственно этому буду поступать и я.

Понедельник, 7 Сентября.

Получил письмо от моего дорогого отца. Он пишет, что беспокоится, не получая от меня так долго никаких известий. Мой добрый, дорогой отец! как он любит меня! Я чувствую, что никогда никого не буду так любить, как его и мать. Если бы я только мог сделать его счастливым!

Вторник, 8 Сентября.

Я начинаю привлекать на свою сторону Гассельбаха. Мёвес и Беккер ужасно обращаются с этим бедным малым. Сострадание и благоразумие побудили меня открыто выступить с протестом против такого обращения, и я взял его под свою защиту.

Что может быть естественнее того, что он обрадовался, найдя во мне защитника, и очень гордится тем, что ему притесняемому и осмеянному, я оказал внимание; глупец думает, что я даже дружу с ним.

Беккер и Мёвес смеются над этим. Они не знают, с какой целью я это сделал и как я воспользуюсь Гассельбахом.

Среда, 9 Сентября.

За это время я прочитал много из Гейне: «Салон», «Французские дела», «О Германии» и Берне: «Franzosen-

fresser» [1]). Я люблю этого Гейне; он—мое второе *я*. Какие смелые идеи и какая сокрушающая сила языка! Он умеет нашептывать нам так же нежно, как зефир, целующий розу; он умеет пламенно и горячо изображать любовь; он вызывает в нас и сильную страсть, и нежную грусть, и необузданный гнев. К его услугам все чувства и настроения. Его ирония так убийственна и метка!

И этот человек отказался от дела свободы! И этот человек сорвал с своей головы якобинскую шапку и надел на свои благородные локоны шляпу с галунами!

Но я все-же постоянно думаю, что он только шутит когда говорит: «Я роялист, но не демократ». Мне кажется, это ирония. И, вероятно, это так. В своих «Французских делах», описывая смерть 60 республиканцев, погибших при погребении генерала Ламарка, он говорит: «Печально я проходил по местам, которые были охвачены восстанием. Почва была орошена благороднейшей кровью Франции. Клянусь Богом, мне было бы приятнее, если бы вместо этих 60 республиканцев, погибли — я и все мои единомышленники-умеренные».

Воскресенье, 13 Сентября.

За обедом поднялся страшный шум. Гандер, который не говорил со мной до сих пор, принялся неистово бранить меня. Я решил-было не уступать ему. Но во вторник, через неделю, должны были приехать мои родители, и мне не хотелось причинять неприятности отцу. Поэтому я признал, что поступил опрометчиво. Едва я успел произнести это, как Гандер схватил мою руку и, пожимая ее, заговорил, что все пойдет по-старому, что он—мой лучший друг.

Приезд моих родителей в Лейпциг надолго помешал мне вести аккуратно дневник. Многое изменилось за это короткое время. Я был так счастлив, что мой отец, моя мать и сестра—со мной!

---

[1]) Политическое сочинение, направленное против известного немецкого националиста, журналиста Менцеля.

Я охотно вернулся бы с ними в Бреславль. Но гордость не позволяла мне признаться в этом; да и все равно: это было бы невозможно. Отец хотел, чтобы я потерпел еще немного, пробыл год в первом классе и получил аттестат. В противном случае все его жертвы были бы напрасны, бесполезна была бы трата денег, которых я ему стоил и которые ему так тяжело доставались.

Нет, с моей стороны было бы неблагодарностью разбивать его надежды, настаивать на том, чтобы он взял меня из школы. И если мне придется еще столько же перенести, я все же твердо вынесу эти полтора года.

К сожалению, я все больше убеждаюсь, что нахожусь в немилости у Шибе.

Ширгольц, этот проклятый педант, этот окаянный сплетник, находит у меня все не так, как этого требует его педантичная душа. Он уже давно невыносит меня и оклеветал меня перед стариком. А старику неприятны мои независимые манеры; ему не нравится, что я не позволяю притеснять себя и не хочу рабски подчиняться. И он дает мне чувствовать свою злобу при каждом удобном случае.

Филиппсон уже пал жертвою деспотизма Шибе. Он принужден был выйти, и до сих пор ненависть Шибе преследует его. О, великий Боже! если бы только меня не удерживала мысль об отце! Как бы мне хотелось вмешаться в эту шайку учителей, этих льстивых сплетников, интриганов и лицемерных плутов.

Как бы мне хотелось сказать Шибе такую правду, какой он еще не слышал! В ушах у него зашумело бы! Как бы мне хотелось сказать ему всю правду перед всем классом, перед всей школой, перед всеми учителями!

Я сказал бы ему, как любит его вся школа. Не найдется никого, кто не проклинал бы самого себя за то, что поступил в коммерческую школу. Я сказал бы ему, как он справедлив, как произвольно он поступает; что он не обращает внимания на знания и поведение, а требует только лести, и считает потерянным всякого, кто не приноравливается к обстоятельствам. Я громко сказал бы ему, что из 120 учеников школы 110 искренно желают, чтобы вся она прова-

вилась в превосходию; что нет ни одного ученика, который не ругал бы его вполне справедливо бесчестным плутом.

Я открыто сказал бы ему, что весь учительский персонал он употребляет для шпионства, кляузничества и выслеживания, с какой заботливостью он шпионит сам, точно за государственными преступниками, чтобы открыть заговор, и ни мало не заботится о том, чтобы предостеречь от ошибок 16-летних юношей.

О, как бы я хотел сказать этому плутоватому деспоту как можно больше правды, какой он ещё не слыхал и не услышит. Я гремел бы ему в уши до тех пор, пока у него не лопнули бы барабанные перепонки!

Я сказал бы ему, и все ученики подтвердили бы, что в этой школе учатся только низкопоклонничать, унижаться и угождать сторожам. Я согнул бы его в бараний рог и кричал бы ему правду, пока он не оглох бы.

Но довольно! Я ничего не изменю своим негодованием, как бы оно ни было справедливо. Остается утешиться девизом стоиков: «perfer et obdura» [1]).

Я вижу ясно, как Шибе несправедлив ко мне, как он меня ненавидит и как старается выместить на мне свою злобу. Но—терпение! Может быть, и для меня настанет час мести.

Мое положение в доме Гандера также не нравится мне. Идут непрерывные сплетни между Гандером и Шибе, между Шибе и Гандером.

А эта вечно загадочная мина, с которой меня предостерегает Гандер! Есть от чего сбежать! Не проходит 3 дней, чтобы Гандер, придя домой, не начал таинственно тихим голосом:

— Слушайте, Лассаль... Я хочу вам сказать... Против вас что-то затевается... Будьте осторожны... Ради Бога... Но я не могу сказать... Если Шибе захочет, вы должны будете удалиться— и т. д...

И так он ходит вокруг да около, со своими ничего не говорящими фразами, возбуждает только мое любопытство,

---

[1]) Терпи и крепись.

говорит полусловами и, в конце концов, ничего, решительно ничего не скажет. Можно с ума сойти!

С Манбергером[1]) немного познакомился. Сначала я не мог его переносить, а теперь он неудержимо влечет меня к себе. Я нахожу его очень любезным. Чего бы я не дал, чтобы возбудить в нем хотя часть того интереса к себе, какой я питаю к нему. Он дал мне «Марсельезу», за что я ему очень признателен.

С Беккером я также ближе познакомился; с ним можно прекрасно ладить, если только знать его получше. Он — добрая душа, не такой эгоист, как Мёвес, и, мне кажется, способен на истинную дружбу. Из всего класса я дорожу им больше, чем остальными. Я часто ходил с ним играть на биллиарде. Он питает слишком большую слабость к женщинам, и это иногда делает его грубым. Но это бывает редко и выражается не так резко, как у Мёвеса.

Мне кажется, я ни за что не пошел бы к продажной женщине. Я должен восхищаться красотой женщины, должен любить ее или, по крайней мере, воображать, что люблю. Я могу желать обладать только одной определенной женщиной, а не следовать грубому животному инстинкту. Это мне кажется диким. Я никому не извинил бы, если бы, желая обладать прелестями особы, к которой он пылает страстью, он употребил все, находящиеся в его распоряжении, средства, хотя бы только честные.

Я начинаю мои ежедневные записи.

Вторник, 16 Ноября.

Сегодня нам прочли месячные ведомости. У меня, против моего ожидания, не было ни одной приписки. Только Одерман вписал мне: «Лассаль иногда мог бы быть старательней»; Мёвесу он сделал пометку: «не оказывает успехов»; Натансону: «в своих знаниях постоянно подвигается назад». Этим двум старик ничего не сделал, ничего не сказал. Только против меня—а меня порицали несравненно меньше—он разразился с непостижимой яростью, обрадо-

---

[1]) См. список учеников.

вавшись случаю побранить меня, и велел мне в субботу после обеда заняться срисовыванием. Это наказание было наложено только на меня и на Симонса, хотя многие подверглись одинаковому с нами порицанию, а 15 учеников гораздо большему. Но он бесился только против нас двоих, так как не терпел нас. Особенно, очевидно, было несправедливое отношение ко мне, так как Симонс был записан двумя учителями, а я только одним, да и то—не за леность и не за дурное поведение. Одерман записал только, что я мог быть старательнее. Весь класс признал меня правым.

Вечером состоялось празднество в честь Шиллера, и в театре давали «Разбойников». Г-жа Дессуар прочла пролог. Жаль было смотреть как Вольраабе играл Карла Моора. Он вообразил, что искусство, которого у него нет, можно заменить криком, а глубокое выражение, с которым должны быть произнесены некоторые места, выкатыванием глаз. Костюм его был также безвкусен. Регер, наоборот, играл Франца превосходно.

Перед тем, как идти в театр, я разменял на глазах у жены директора талер, который я занял у Фрица. Я принужден был занять, так как отец уже 2 недели ничего мне не писал и не присылал денег. Жена директора знала, что у меня не было ни одного пфенига, так как я в воскресенье жаловался на безденежье, и спросила, откуда я взял талер. Я это сказал бы ей, так как не считаю дурным занять талер у своего друга; но меня рассердил ее подозрительный тон, и я, смеясь, ответил ей, что никогда не думал, что мои финансовые обстоятельства так интересуют ее. Она продолжала допытываться, убеждала меня, как она выражается, сознаться и, в конце концов, сказала, что она может вообразить себе, откуда у меня деньги. «Ну и прекрасно, и прекрасно, воображайте себе», сказал я и отошел от нее прочь.

Все это, конечно, пустяки, но я был страшно рассержен. Я мог бы легко избежать этого, если бы незаметно менял деньги. Но я не видел тут ничего дурного и не считал нужным скрываться.

Теперь-то я хорошо вижу, что нужно избегать всего, что может подать хоть какой-нибудь повод к подозрениям.

Среда, 11 Ноября.

Сегодня второй класс получил предостережение, что старик хочет просмотреть учебник Галлуа, не надписываем ли мы на нем слов. В половине двенадцатого он пришел. Мы уже все стерли, и смотреть было нечего. Старик стоял около меня, и мне захотелось посмотреть, насколько он меня ненавидит.

Я быстро беру карандаш и пишу одно только слово. Собственно говоря, он ничего не мог на это сказать, но он стал браниться, как только можно. Минуту спустя, я сдвинул свой портфель, и он увидел лежавший под ним перевод, который я положил туда бес всякого умысла. Нужно было видеть, с какой яростью Шибе набросился на меня! В сущности, он не мог ничего иметь против этого, так как нам не могут запретить делать подготовительные переводы, лишь бы только мы не справлялись с ними. А этого, он и сам видел, не было. Но он все-таки стал яростно бранить меня.

Потом, обращаясь к Курвуазье, он сказал:

— Вы не должны доверять Рихтеру, потому что он коварен, а этому и еще того менее. Это отъявленный лицемер (я—лицемер!), которому ни один учитель не должен доверять. Это бесчестный лицемер, плут... и т. д.

Подумайте: я лицемер, я, которого Гандер постоянно бранит за чрезмерную откровенность!

Я подыскивал слова, бессвязно лепетал о том, как он мог составить подобное мнение обо мне. Но старик не дал мне сказать ни одного слова.

— Проклятый лицемер!—прервал он меня:—молчи, или я вышвырну тебя за дверь! Вчера я говорил о тебе, что ты получишь такую оплеуху, которая свернет тебе шею.

Он занес руку и несколько времени держал ее так. Я и все в классе думали, что он, действительно, даст мне оплеуху. В это время меня занимала мысль, что я сделаю, если он даст мне оплеуху: принять ее спокойно, перенести этот позор перед всем классом, или возвратить ему пощечину? А если я сделаю последнее,—что, скажет отец, мой бедный отец, для которого я—единственная надежда, которого я

обещал радовать! Ах, я вижу что, оставаясь в коммерческой школе, я не в силах исполнить свое обещание.

Однако, на этот раз Шибе ограничился только угрозой.

Когда он ушел, весь класс заговорил, что это гнусная подлость со стороны старика. Все утешали меня и говорили, что чувствовали себя при этом также скверно и даже хуже. Даже мой злейший враг Гаунтиц, подошел ко мне и сказал, что я должен пренебречь этим, потому что не мне одному было так скверно.

Сегодня Гандер опять спрашивал о деньгах. Я ответил ему то же, что и вчера. Этот злой дурак пригрозил, что напишет моему отцу. Увидя, что и это не действует, он сказал, что о моих проделках доведет до сведения Шибе.

Четверг, 12 Ноября.

Сегодня я написал отцу обо всей этой истории.

Вторник, 17 Ноября.

Сегодня получил ответ от отца. Он, как это можно было предполагать, порицает мое поведение,—конечно, не потому, что я был неправ, а потому только, что родители всегда недовольны детьми, когда последние сталкиваются с учителями. Получил деньги.

Четверг, 19 Ноября.

Сегодня Шибе довольно откровенно проявил свою ненависть ко мне. Одерман в письме к Эрдману жаловался, что я и Мёвес неаккуратно исполняем домашние уроки арифметики. Эрдман сильно поссорился с Мёвесом и побежал с письмом к Шибе, которому он и Одерман наклеветали на нас. Едва я пришел в школу, как меня позвали к Шибе. Последний с яростью набросился на меня и Мёвеса. Он называл нас негодными мальчишками, а наше поведение позорным и т. п. Одерман был тут же и еще больше клеветал на нас: он говорил, что мы совсем не занимаемся, ничего не знаем, — и этим еще больше усиливал гнев директора.

Последний запретил Одерману давать нам уроки, даже если бы мы предлагали ему целый луидор за урок.

— Пусть он делает, как знает,—сказал он обо мне,— а если он не будет успевать, пусть убирается к черту!

Так??!!

Мёвеса он осыпал еще худшей бранью. За свое столкновение с Эрдманом Мёвес должен был предстать на суд пред педагогическим советом. В заключение старик дал Одерману совет наградить нас пинками и спустить с лестницы, если мы явимся к нему.

Мне он сказал:

— Я скоро напишу твоему отцу. Я жду только, когда переполнится чаша твоих грехов.

О, Боже мой! Если бы я только не знал, как огорчит моего отца клевета Шибе,—я дал бы такого тумака этому мошеннику! Пока же, я мог только утешать себя, как рыбачок:

«Терпение! Настанет время»[1].

Пятница, 20 Ноября.

Сегодня—день покаяния. Я был свободен и пошел гулять с Беккером и Мёвесом. На этой прогулке я убедился, что ректор Шибе не терпит евреев.

Мёвес, который в четверг был позван в педагогический совет, рассказал нам следующее. Отделав Мёвеса, как только можно, ректор обратился к учителям:

— Я почти убежден, господа, что берлинцы ни на что негодны.

Шибе не терпел также Беккера и Гассельбаха: оба— берлинцы.

— Припомните, — продолжал он с ударением, — трех евреев (он говорил о двух Марквальдах и о Генце), которые были тоже оттуда.

---

[1]) Песнь Мазаньелло из «Немой из Портичи», в которой «рыбачок» призывает своих друзей к восстанию против угнетателей.

Воскресенье, 22 Ноября.

Сегодня меня посетили маленький Демлих и корыстолюбивый К. Я напоил их грогом и заставил уйти. Что за низкий и корыстолюбивый малый этот К! За 2 гроша он за одного бросается в огонь, у другого целует ноги; но даром он не поднимет своего лучшего друга, если тот упадет в канаву. Он постоянно занимает деньги и не платит.

Но потешнее всего вот что. Он думает, что я принимаю его слова за чистую монету и верю тому, что он приходит ко мне из любви и дружбы, а не затем, чтобы съесть мой ужин. Осел! Он хочет меня провести, а сам одурачен. Он и не подозревает, что я терплю его только потому, что могу им воспользоваться.

Вторник, 24 Ноября.

Я чувствую себя так плохо, что должен сидеть дома. Доктор жены директора, гомеопат, сказал мне, что я должен лечь в постель. Он дал мне свой порошок. Порошок я взял, но доверия к нему, как приверженцу универсальной медицины, не имею, потому что не могу понять, каким образом могут излечиваться все болезни, имеющие различные причины, одним и тем же средством.

Среда, 25 Ноября.

Сегодня я остался в постели и намерен не меньше недели не выходить из комнаты. Получил от отца письмо. Если бы меня не навещал Цандер, я страшно скучал бы, так как остаюсь постоянно один.

Этот истинно добрый и совершенно еще не испорченный юноша, кажется, питает ко мне истинно-дружеское чувство, вызванное не корыстолюбием, как у К., и не желанием повеселиться, как у Беккера

Четверг, 26 Ноября.

Занимаюсь чтением гениального Байрона.

Теперь я хорошо чувствую, какая разница: жить дома, или у чужих людей. Когда я дома лежал в постели, любя-

шая мать не отходила от меня. Сестра и родственники заботливо окружали меня, и первым вопросом отца, когда он отворял дверь было:

— Как ты себя чувствуешь, мальчик?

Теперь же меня оставляют совершенно одного, не заботятся обо мне и приходят взглянуть на меня только тогда, когда бывает доктор. Чтобы не простудиться, я должен сам поддерживать огонь и вставать для этого с постели каждую четверть часа. Если мне нужно что-нибудь, я должен спрыгнуть с постели, подойти к лестнице и звать Эмилию. После того, как я ровно полчаса громко зову ее, дрожа от холода, только тогда она отвечает мне. Моя пища—водяной суп; со мной обращаются, как с собакой. Сегодня так надымили в моей комнате, что и у здорового человека заболела бы голова. Когда же я стал жаловаться, что дым скверно действует на мое горло, то мне ответили, что ничего нельзя поделать: дымит, будто бы, оттого, что—ветер.

Как страстно хочется мне быть теперь дома, под крылышком у любящей матери. Но мое желание тщетно, и слезы напрасно текут по моим щекам.

Что касается горничной, то из-за нее я, вероятно, получу желчную болезнь. Я никогда не видел такой сплетницы, и такой неуслужливой и глупой горничной, как эта Эмилия. Но свои выгоды она умеет хорошо соблюдать. Она никогда не сделает для меня лишнего шага и обо всем сплетничает.

Рикхен поступала совсем иначе!..

Эта Эмилия стоит слишком низко для того, чтобы мне еще вступать с ней в спор, но я накажу ее на Рождество.

Воскресенье, 29 Ноября.

Сегодня меня навестили Флаго, Леман, Цандер и глупый Лессер.

Леман, друг Флато, служит в виноторговле, и нам пришла мысль посмеяться над вином его хозяина. Особенно мы смеялись по поводу его шампанского, называя его поддельным, и т. п. Чтобы убедить нас, что шампанское—настоящее французское, Леман показал нам пробку от шам-

панского, случайно оказавшуюся у него в кармане; на ней был штемпель: «Perrier et fils». Когда мы осмотрели пробку, я бросил ее в комнате—с той мыслью, что если кто-нибудь найдет ее, то подумает, что я пил шампанское

Понедельник, 30 Ноября.

Сегодня ко мне зашла жена директора. После продолжительного зондирования почвы, она наконец, сказала:

— Все уже известно: в воскресенье вы пили здесь шампанское... Нет?

Конечно, следовало бы рассмеяться ей в глаза. Но я ответил утвердительно, отчасти потому, что не считаю преступлением пить шампанское, отчасти потому, что хотел наказать ее за ее подозрительность, которая заставляет ее всюду предполагать тайны, видеть что-нибудь там, где совсем ничего нет: я хотел наказать ее за ее страсть шпионить, а потом хвастаться.

Мое подтверждение изумило ее и совершенно сбило с толку. Я сказал ей, что это только шутка, что никто и не думал пить там шампанского, а пробка попала к нам случайно. Но она осталась при непоколебимом убеждении, что я пил. Что за злостная подозрительность! Она обратилась ко мне с длинной речью и сказала, что не хочет передавать об этом своему мужу.

Но я наверное знаю, что не только ему, но и другим она насплетничает.

Я ответил ей вполне учтиво: пусть она не беспокоится обо мне и пусть везде рассказывает, если хочет.

Вторник, 1 Декабря.

Приехал Оле Буль. Будет очень жаль, если болезнь помешает мне слушать его

Я читаю «Письма покойника», написанные князем Пюкклером.

Нельзя отрицать, что они остроумны, но я все же нахожу мнение Берне верным: они мертвы, в них нет горячего дыхания жизни.

Господин Ширгольц был у меня сегодня в то время, когда я брал уроки музыки. Он ничего не расследывал, а дружелюбно навестил меня, чтобы узнать о моем здоровьи, побранил дружески, что я не одеваюсь теплее, и ушел. Жена директора долго разговаривала с ним внизу и, по всей вероятности, рассказала ему историю с шампанским.

Среда, 2 Декабря.

Сегодня приходил Цандер[1]) и рассказал мне, что директор Шибе и Ширгольц строго допрашивали его, не пил ли он у меня в воскресенье шампанского. Конечно, ему не в чем было сознаваться, и все расследование привело к результату, сконфузившему жену Гандера. Цандер рассказал всю правду и даже разъяснил, где они могут найти Лемана. Киндерман, которого спрашивал Ширгольц, тоже ничего не знал, и таким образом, сам Ширгольц убедился, что все это, действительно, было пустяком.

Для Гюльсе собирали деньги (от каждого ученика 2-го класса по два талера) на покупку золотого бокала. Это был единственный справедливый учитель в школе, который не унижался до шпионства, а защищал угнетенных. Он теперь выходит. Воображаю, как хорошо теперь будет в школе! Его место займет какой-нибудь негодяй.

Четверг, 3 Декабря.

Сегодня у меня был серьезный разговор с директором Гандером. Он откровенно признался мне, что его жена день и ночь жужжит ему в уши и не дает покоя (le pauvre diable!). Она постоянно жалуется на меня, что я отношусь к ней, особенно в присутствии других, не с должным почтением.

Я также откровенно объяснил ему, что его жена в присутствии моих товарищей бранит меня, что я не могу переносить этого, тем более, что она оскорбляет моих дру-

---

[1]) Одноклассник Лассаля, недавно умерший в Вене. Он поместил в «Gartenlaube» (1877 г.) «Юношеские воспоминания о Фердинанде Лассале», подписанные буквами Rz.

зей, не имеющих к ней никакого отношения. Я спросил его, есть ли что-нибудь дурное в том, что я согрею чашку рома и сделаю из чая грог. Он ответил отрицательно. Тогда я рассказал, как его жена раскричалась, когда я сделал это:

— Что вы (т.-е. мои друзья) делаете? Это у нас запрещено.

Недавно на лестнице она набросилась на Цандера с вопросом, не ко мне ли он идет. Он ответил очень вежливо:

— С вашего разрешения, да.

— Вы также один из тех, которые так шумят там наверху?

Во-первых, мы вовсе не шумим; во-вторых, этот вопрос был некстати, и если бы это был не Цандер, она могла бы услышать грубый ответ. Директор Гандер не мог не признать меня правым; но все же он сказал, что, если его жена будет продолжать жаловаться на меня, то он ничем не сумеет помочь мне и, ради собственного спокойствия, должен будет написать моему отцу: «Господин Лассаль, как мне ни жаль, но ваш сын не ладит с моей женой; возьмите его от меня». Я отнесся к нему сочувственно, пожалел его и стал напевать:

Ehret die Frauen, sie flechten und weben
Himmlische Rosen in irdische Leben [1]).

Пусть жена директора остерегается меня; я дам почувствовать этой изъеденной червями, отцветшей розе, ее собственные шипы. Она наверное — из породы центифолий, так как соединяет в себе cent folies (сто глупостей); но она еще в десять раз больше зла, чем глупа.

Суббота, 19 Декабря.

Сегодня, от 9-ти до 10-ти часов, Гюльсе давал нам последний урок. В три четверти десятого я получил записку от Гейдлера, в которой он писал мне, что в первом и третьем классе учителю говорили прощальные речи, и

---

[1]) Женщинам почесть! Подруги, вплетая
В тернии жизни сей розаны рая,
Цепи любви нам, волшебницы, ткут.
(«Достоинство женщины» Шиллера).

что всѣмъ и я долженъ говорить. Он предлагал мне это от имени всего класса. Я ничего не ответил. Потом мне передали записку от Гаунтица, моего открытого противника, с такой же просьбой. Он прибавлял, что если я не хочу говорить, то он сам сделает это.

Вся эта история казалась мне рискованной. У меня не было и 10 минут, чтобы приготовиться. Я не хотел принимать предложения, но и отказываться не мог и не хотел. Я кивнул Гаунтицу, пусть он говорит.

Звонят, и Гюльсе обращается к нам с прощальным словом. Я оглядываюсь кругом: не поднялся ли кто говорить? Никто не двигается. Задние скамейки кивают мне. Гюльсе уже готов сказать: «Первое отделение уходит!». Тогда я поднимаюсь, чтобы поддержать честь класса, и говорю. Что я говорил, едва ли я помню, так как должен был говорить совершенно ex tempore [1]). Это было внушение минуты. Волнение Гюльсе, одобрение и благодарность класса убедили меня, что я хорошо исполнил возложенную на меня обязанность.

Вечером ко мне пришел Демлих [2]). По его словам, Гюльсе передал старику, что я произнес речь, которая очень тронула его и усилила горечь разлуки. Старик пришел в ярость, в 12 часов созвал вниз своих присных и сказал им, что кровь заклокотала у него в жилах, когда он узнал, что я говорил, весь класс и даже немногие лучшие оказались негодяями. Они должны были кричать: «долой Лассаля! долой!». Демлих уверял меня во всем этом, но мне это казалось невероятным. Такая гнусность выше моего понимания.

Он сказал также, что они должны были осрамить уходящего Гюльсе и вести себя так, что во всяком другом случае, если бы это не относилось специально ко мне, он был бы вправе строго наказать их.

---

[1]) [illegible]

[2]) Одноклассник Лассаля из Оберлейтерсдорфа.

Воскресенье, 20 Декабря.

Сегодня я познакомился с семьей Исидора. Его сестра Р. очень заинтересовала меня. Она красавица! Расцеловал бы ее. К сожалению, еще не вырос до поцелуев. Терпение, mon petit ami! Время придет. Я был с ней любезен, насколько хватило моего уменья.

Получил от Исидора уже третье письмо и не ответил ему еще ни на одно. О, я неблагодарный!

Понедельник, 21 Декабря.

Возвратясь сегодня из школы, я увидел на столе письмо с надписью: «cito citissime». Я торопливо вскрыл его. Письмо было от сестры и Лакса. Они сообщали, что в субботу, 26-го, будет серебряная свадьба моих родителей. Они хотели, чтобы я, во что бы то ни стало, приехал, если только не будет сильных морозов. Им запретили писать об этом, чтобы я не грустил очень, оттого, что не поеду домой.

Сестра, умная, как всегда, сделала мне ясный намек, что я должен сделать то, чего так сильно хочу. Этот намек был излишен. Я твердо решил ехать во что бы то ни стало. Но каких только препятствий нет на моем пути! Шибе меня ненавидит. Отпустит ли он меня без письма отца? Едва ли можно рассчитывать на это. О, мои воспитатели! Если бы они были другого мнения обо мне! Я могу сослаться на письмо. Но прочтя его они, кроме скрытого намека, найдут в нем только сожаление о том, что я не могу приехать.

Однако, счастье мне улыбнулось. Гандер и его жена выказали себя с хорошей стороны. Я думаю, что без Гандера мне не получить бы разрешения Шибе.

В четверг, после обеда, я сел на поезд и покатил в Бреславль.

Пропускаю свое путешествие.

В субботу, в семь часов утра, я был в Бреславле. Какая грусть охватила меня, когда я увидел мои любимые улицы и башни, которые 4 года назад я с такой радостью покидал!

Я заехал к дяде Фридлендеру —упал на него, как с облаков. Он сильно обрадовался.

Быстро переодевшись, я полетел к родителям. У меня не хватает уменья описать радость отца, матери и сестры. Особенно отец был вне себя от радости. Ему страстно хотелось видеть меня, и он думал даже после праздников приехать ко мне.

Семь счастливых дней прожил я у них. Мать хотела, чтобы я остался еще. Но я слишком хорошо знаю Шибе и слишком люблю отца.

Свадьба сестры с кузеном Фридлендером решена, и его ждут из Парижа.

Пятница, 1 Января 1841 г.

Я опять сел в вагон и уехал от дорогих родителей в страну ненависти.

В воскресенье я приехал в Лейпциг и пошел к Цандерам, где меня встретили очень дружелюбно. Я навестил также Джонсона и Нагельшмидта. Они принесли мне денежное письмо, пирог и вещи.

Понедельник, 4 Января.

Утром я был у Шибе и передал ему письмо отца. Меня приняли очень милостиво.

Вторник, 5 Января.

Вечером ко мне пришел Цандер. Я работал с ним. Поднимаясь из-за стола, чтобы принести письмо, я столкнул лампу. Резервуар и абажур разбились, масло разлилось по полу. Мы с Цандером побежали за глиной и замазали пятна.

Среда, 6 Января.

Сегодня, поздоровавшись и заговорив с женою директора, я заметил, что она ко мне чрезвычайно холодна. Не разбитая ли лампа тому причиной? Вечером ко мне в ком-

нату пришел Гандер и сказал, что я подрался с Цандером (так ему доложила горничная Эмилия,—кроме нее в среду вечером никого не было дома) и во время драки разбил лампу. Я стал убеждать его в противном. Он не хотел ничему верить и прибавил:

— Мы поговорим об этом после.

После обеда я был у Цандера и провел время приятно.

Четверг, 7 Января.

Сегодня я немного проспал. Быстро одеваясь, я толкнул стол; свеча упала, и подсвечник разбился.

Гандер был очень молчалив и не сказал дружелюбно ни слова.

Наконец, он начал:

— Чтобы Цандер больше не ходил наверх!

— Почему?

— Потому, что вы с ним деретесь, как невоспитанные уличные мальчишки. Теперь вы знаете, почему.

— Поверьте мне, господин директор, я не дрался...

Гандер яростно набросился на меня:

— Вы невежа, вы грубиян! Вы дерзкий, заносчивый мальчишка! Как вы можете быть таким нахалом и грубияном и говорить мне, что не дрались, когда я утверждаю противное? Вы не должны ко мне приходить. Вы глупый мальчишка! Марш в свою комнату! До пасхи вы будете обедать наверху. Я напишу Шибе. Я скажу ему все, все. Мне многое известно о вас! Теперь он все узнает.

Я старался успокоить его, но напрасно. Это только больше раздражало его. Он шел сзади меня по лестнице и, заметив замазанные пятна, закричал:

— Вы замарашка, если хотите знать! Осел! В следующий раз вы получите пощечину. Знайте это. Если Цандер придет, получит пару затрещин.

Он ушел.

Спустя минуту, он вернулся ко мне с подсвечником:

— Что вы тут наделали?

— Это моя неосторожность.

— Так! Ну, так вы должны его исправить.

— О. Господи, не преступление же—разбить подсвечник!

— Не преступление? У вас на это взгляды Гейне! (Я посмотрел на него презрительно). Этот подсвечник и лампу я покажу Шибе. Погодите, я вас проучу! Не смотрите на меня так, а то получите пару таких оплеух, что вылетите за окно.

Мое терпение истощилось. Я судорожно схватил чернильницу и готов был излить свое негодование и обиду в целом потоке слов, но мысль об отце удержала меня. Я не понимаю, как я мог быть так сдержан, когда со мной так обращались из-за какого-то пустяка. Я уверен, что если бы я не побывал перед этим дома и не видел, как сильно любит меня отец, то не сумел бы сдержать себя. Меня удержала мысль, что я огорчу отца, если отомщу за обиду. Я ограничился тем, что посмотрел на него с презрением, и он с проклятиями вышел из комнаты.

В пятницу и субботу я обедал в своей комнате.

Потом я решил, что так не может продолжаться. Шибе воспользуется этим, как поводом, чтобы уничтожить меня: и отец будет сильно огорчен. Я сделал первый шаг и пошел к Гандеру. Мы помирились. Но кто выказал себя здесь скверно,—так это его жена. Этого я ей тоже никогда не забуду!

С Беккером мы совсем подружились. Он принадлежит к числу тех людей, в которых тем больше открываешь хороших сторон, чем больше их узнаешь. Мёвес—совершенная противоположность ему.

Понедельник, 18 Января.

Сегодня достопамятный день: мы закрепили нашу дружбу с Беккером обращением на «ты».

Я часто посещаю Цандера. Чувствую, что меня сильно влечет к прекрасной Розалии. Я могу быть доволен своим успехом. В эту семью я ввел и Беккера.

Не знаю, отчего это происходит, что я веду дневник отрывочно. Причиной, может быть то, что за это время я слишком много пережил, и нет возможности все записывать

Если при этом о чем-нибудь умолчишь,—вот уже и пробел. Правда, я переживаю слишком много, чтобы иметь время все записывать!

Я должен сказать, что мое пребывание в Лейпциге, помимо школы, вовсе не неприятно. И даже скучные часы занятий в классе услаждаются дружбой Беккера. В субботу и воскресенье мы обыкновенно или катаемся в санях, или играем в вист, или бываем в гостях у Розалии. Таким образом, время идет очень быстро, пока не замешается какая-нибудь подлость со стороны Шибе. Я уже привык смотреть на этого субъекта с саркастическим презрением. Пусть себе лает! Жаль, что я не могу запретить ему кусаться.

Как только подумаю, что Вильгельм Остерн после пасхи уезжает в Марсель, чувствую, что уже теперь начинаю тосковать. Grand Dieu! Что я тогда буду делать!

Я несколько раз замечал, что Вильгельм любит меня не так сильно, как я его; но всеж я буду чувствовать себя осиротелым, когда он уедет. До сих пор удивляюсь, как это мы так близко сошлись.

Когда я перешел во второй класс, почти все ненавидели меня. Я слыл за невыносимого, надо мной смеялись. Если бы меня не поддерживала твердая уверенность в себе, я мог бы сделаться мизантропом. И вот посмотрите: именно те, кто больше всего смеялся надо мной, стали моими лучшими друзьями. Вильгельм мой друг, и Натансон, повидимому, хочет быть им.

К большинству в классе я отношусь безразлично. Я считаюсь всегда с мнением тех, кого уважаю и о которых знаю, что они могут понять меня. Мнение того, кто меня не понимает, для меня безразлично; и если он плохо обо мне думает, то, ведь, это все равно, как если бы школяру попались в руки мудрые изречения Гафиза, и он, не понимая их, с презрением отбросил книгу.

Я постараюсь аккуратно вести дневник и записывать каждый день.

Среда, 17 Февраля.

Сегодня после обеда, Гейшкель возвратил мне мою немецкую работу «О правилах дружбы». В ней я сильно нападал на всех филистеров и глупых теоретиков. Далекая от того, чтобы устанавливать какие бы то ни было правила дружбы, моя работа представляла не что иное, как жестокую насмешку над теми, кто хочет предписывать правила нашим чувствам. Как только Г. вышел, весь класс потребовал, чтобы моя работа была прочитана. Гейшкель вступил со мною в спор, из которого я вышел победителем [1]).

За идеальный взгляд на истинную, благородную дружбу, который я высказал, меня назвали экзальтированным. Жалкие люди! Если уже теперь они так трезво судят о дружбе, то что же они скажут о ней через 50 лет! Если теперь эти, едва вступившие в жизнь юноши, способны только на мещанскую дружбу, то как же черствы они будут стариками. Мне жаль этих людей, которые с самого рождения становятся и до старости остаются филистерами.

Больнее всего мне было то, что мой друг Вильгельм оказался в числе лиц, которые мое благоговение перед дружбой называли экзальтацией.

Но я знаю или, по крайней мере, верю, что он понимает меня. Это с его стороны —поддразнивание и шутка, когда он называет меня экзальтированным. Если бы он знал, как грубо затронула эта шутка самые нежные стороны моей души, он не позволил бы себе ее. Я страдаю не за себя; мне больно хоть одно мгновенье видеть его в ряду дюжинных людей.

Сегодня вечером ко мне пришел Л., и я играл с ним в вист. Такое отсутствие самолюбия поражает меня. Придти к человеку, который вчера указал ему двери! Этого я не понимаю.

Неприятное чувство охватывает меня, когда я смотрю на подобных людей. В них я нахожу разгадку того, почему так

---

[1]) Это происшествие описано Цандером в «Gartenlaube». Цандер вспоминает о поэтическом вступлении Лассаля к этой работе:

> Nicht wagen mit der Waage in der Hand
> Lesst sich der Freundschaft golden hehres Band

сильно презирают евреев. Такого сорта люди способствовали этому. Эта низость взглядов, это раболепство, эта пошлость... фу, какая отвратительная смесь!

Я разговариваю с Л., позволяю ему навещать меня, чтобы иметь возможность изучить характер людей этого сорта.

Единственное, прирожденное евреям, хорошее качество—добродушие, и он обладает им в высокой степени.

Воскресенье, 21 Февраля.

Проскучав целый час с Беккером, Мёвесом и Гассельбахом на Тонберге [1]), я в сопровождении Вильгельма навестил одно близкое семейство. Там мы провели чудный вечер.

Очаровательность той невинной девушки, чуждой всякого кокетства, безгранично захватывает меня, сама природа, которая создала ее такой прекрасной, удваивает ее привлекательность. Эта девушка создана для того, чтобы восхищаться ею. Эти голубые, томные глаза, эти гармонические черты, эта ослепительная белизна зубов, эти полные губы, это нежное округление подбородка, эта девственная грудь! Она, действительно, прекрасна! Она так невинна, кротка, как ягненок, так детски чиста, так застенчива, так пугливо относится к каждому грубому прикосновению мужчины...

Сегодня я, действительно, не имел основания сказать: «diem perdidi» [2]).

Понедельник, 22 Февраля.

Сегодня пришло письмо от Исидора. Он пишет, что чувствует себя в Гамбурге хорошо, но все-таки покидает его на пасху и едет в Манчестер.

Неумолимая судьба, повидимому, хочет разъединить нас. Тем не менее, хотя он и поедет,—а он должен ехать,—моя

---

[1]) Название одного местного увеселительного заведения, которое в новейшее время прекратило свое существование. Оно находилось на проселочной дороге, ведущей в Пробштейду, недалеко от монумента Наполеону наиболее посещаемого памятника войны.

[2]) Потерял день.

судьба будет связана с его судьбою. Если мои лучшие мечты, которых я не могу доверить даже этой книге, осуществятся, то осуществится также и то, что Исидор, связавший свою судьбу с судьбой своего друга, станет бороться рука об руку со мной и победит. Мы должны победить в борьбе, которую я задумал. Свет победит, и мрак рассеется. Божественный разум и здравый смысл должны победить: они должны рассеять своими яркими лучами глупость и суеверие, как день рассеивает ночную тьму.

Пятница, 26 Февраля.

Меня не мало беспокоит, что до сих пор нет из дому письма. Дай Бог, чтобы дома все были здоровы! Это замедление расстраивает все мои планы. Мое празднество, мои уроки верховой езды—все будет приостановлено и задержано.

И еще мне неприятно то, что Фердинанд не едет. Я уж и не знаю, что думать об этом.

Воскресенье, 28 Февраля.

Сегодня выяснилось то, что меня уже давно беспокоило. Мой гардероб так хорош, что из-за него мои знакомые смотрят на меня через плечо, меня высмеивает и порицает мой друг Вильгельм, который во всем безусловно правдив по отношению ко мне.

Еще до моего поступления в коммерческую школу, мой отец сердился за то, что я много трачу на платье: он поставил себе за правило не поощрять моей склонности к этому. Он называл это тщеславием, и уже тогда это служило поводом к горячим спорам. Но еще никогда мой гардероб не был так плох, как в коммерческой школе. Моя рука не решается описать его непригодность. Довольно того, что это дало Вильгельму повод к просьбам, порицанию и, наконец, к насмешкам.

Что мне оставалось делать? Даже в отношениях со своим лучшим другом человек сохраняет маленькую дозу тще-

славия. Я стыдился признаться моему другу В., что чувствую потребность хорошо одеться, так же хорошо, как и он. Только причуда моего отца требует, чтобы у меня был один Бог и один-единственный, да к тому же плохой, сюртук. И я поступал так, как лисица с виноградной кистью. Я делал вид, что одежда для меня не имеет ровно никакого значения, и притворялся циником, что было мне совершенно чуждо. Я не франт, не щеголь, но все-же в будущем буду постоянно одеваться самым тщательным образом. По одежде узнают людей,—таков девиз XIX столетия. Глупо, если человек, зависящий от других и желающий жить с ними, осмеивает взгляды и даже предрассудки света. Он может презирать их и смеяться над ними в глубине души, но открыто сопротивляться—нет, клянусь Богом, нет! В противном случае—он глуп!

Я думаю, каждому приятно видеть себя в зеркале хорошо одетым. Конечно, кто одевается элегантно для того только, чтобы нравиться себе в зеркале, тот—дурак, фат. Мое платье должно нравиться другим; я одеваюсь красиво ради других. И мой отец совсем не прав, когда запрещает мне это.

Мое платье так скверно, что даже жена директора несколько раз мне говорила:

— Если бы вам, Лассаль, не все шло так прекрасно, то вы выглядели бы оборванцем!

Часто я думал об этом, но, пока, все отказывал себе в намерении сбросить свое посмешище, прежде чем я сделаюсь хотя немного самостоятельнее.

Сегодня, Dieu merci, пришло мне на ум разумное решение.

Вильгельм позвал меня в гости и нетерпеливо ждал, пока я не одену своего сюртука, чтобы идти с ним. Но надеть сюртук было затруднительно. Я стыдился одевать в присутствии моего друга изношенный сюртук, который служил мне и в праздники, и для работы, и заменял халат. Я стыдился даже подумать пойти после обеда к дамам в этом сюртуке.

В одно мгновение я сообразил все, что можно сказать за и против. С горечью собрал я весь хлам, висевший в шкафу, бросил его к ногам В. и сказал:

— Выбери мне сюртук!

В. стоял, не зная, что делать. Я сам прервал молчание:

— Пойдем к твоему портному!

Мы пошли.

Я заказал сюртук, брюки, жилет и сапоги, и все—такое изящное, какого только мог требовать сам В. И я дал себе твердое обещание, чего бы это мне ни стоило, с этого времени одеваться изящно.

Я не могу назвать это обещание благочестивым обетом, но именно потому, быть может, я буду тверже его держаться, что это—не благочестивый обет.

Среда, 3 Марта.

Катался с Беккером и Мевесом в санях. Меня очень беспокоит, что до сих пор нет ответа из дому. Я не знаю, чем это объяснить.

Суббота, 6 Марта.

Сегодня старик опять выказал себя в полном блеске. Он опять был вполне самим собою. В двенадцать часов он пришел в класс с месячным журналом. Я был отмечен у Курвуазье, как беспокойный. Как напустился за это на меня старик!

В особенности характерно было его выражение:

— Погоди, при отметках я отплачу тебе!

Он явно выказал свою подлость по отношению к Вильгельму.

— Мне очень приятно, что ты уходишь. Мы не нуждаемся в тебе,—сказал он.

А между тем, он употребил все средства для того, чтобы убедить отца Вильгельма оставить его здесь.

— От Беккера и Лассаля,—объяснил он,—я ни в каком случае не приму альбома (описания празднеств).

Я очень мало огорчился этим. Посмотрим, останется ли он тверд в своем намерении, после того, как отец на пасхе пригласит его поужинать в Hôtel de Bavière. Что же касается аттестата, то я не боюсь. Он не может дать плохого отзыва

о моих знаниях и не выдать мне хорошего аттестата, а что он там впишет мне, это для меня безразлично.

Меня беспокоит только то, что отец может огорчиться. Но я надеюсь, с Божьей помощью, дать ему на пасхе хотя некоторое понятие о том, что за человек этот Шибе. Я говорю: хотя некоторое понятие, так как, чтобы вполне понять его, нужно быть его учеником. Один из нас, т.-е. или я, или Шибе, сделали, должно быть, большие успехи. Краска стыда уже не покрывает моих щек в то время, когда он меня так постыдно ругает. Или я—самый бесчестный малый во всем свете, или Шибе следует признать негодяем, на слова которого не должно обращать ни малейшего внимания.

Нет, я не бесчестен, у меня нет недостатка в чувстве чести, словам же старика не следует придавать никакого значения. Лучшее доказательство этого—в поведении самих учеников. Если бы он не был негодяем, если бы его слова для всех нас имели значение большее, чем кляуза злого языка,—то, очевидно, все должны были бы с отвращением отвернуться от меня. А они, напротив, сблизились со мной и уговаривают меня не обращать внимания на слова старика.

Но этот совет мне вовсе не нужен. Пока—он может говорить! Когда-нибудь я заткну ему рот.

Портной Гоффман принес мне костюм, и я имею случай испытать верность поговорки: «платье делает людей».

Вторник, 9 Марта.

Сегодня, в 9 часов, я получил письмо от кузена Фердинанда Фридланда de-Paris, в котором он меня извещает о своем прибытии и просит, как можно скорее, придти в гостиницу. Я должен был ждать три неимоверно долгих часа и потом отправился к нему—и не шел, а скорее летел. Мы оба были очень обрадованы, свидевшись через год и три месяца. После первых объятий, мы поделились друг с другом нашими планами.

Откровенно говоря, Фердинанд имел право быть недовольным мною. Удивительно, что я без постороннего побуждения возвратился опять к своему прежнему мнению о нем.

Вначале, когда сватовство Фердинанда еще только обсуждалось, я был в числе первых, подавших свой голос за него. Но после его отъезда мнение мое постепенно изменилось. Не то, чтобы ослабел мой интерес к нему, но всякие сплетни, как ни мало я доверял им, необходимо должны были возбудить во мне недоверие к нему. Я не верил также, чтобы Рикхен на долгое время осталась верна своей склонности к нему. Таким образом, произошло то, что я стал против него. В Лейпциге я опять возвратился к своему прежнему мнению и, когда сюда приѣзжали ко мне родители, я говорил им в его пользу и, вероятно, не мало содействовал решению, которое вызвало моего кузена из блестящего Парижа, из министерства, из центра художников и ученых, поэтов и государственных людей —в Бреславль, чтобы жениться на моей сестре.

Он сомневался еще—как он сам мне признался —что будет иметь успех. Я не разделял этого опасения, хотя видел, что ему придется побороть еще много препятствий и перенести много неприятностей. Он очень сожалел, что я не могу ехать с ним в Бреславль, помочь ему и т. д. И для меня это было неприятно, как и по этой, так и по многим другим причинам. Фердинанд обещал устроить все мои дела. Как человек, долгое время вращавшийся в блестящем обществе, он, конечно, понимает, что я не могу жить на два талера в месяц.

В половине второго я хотел проститься с ним и идти в школу, но он удержал меня, пообещав извиниться перед Шибе.

Насколько мне помнится, со дня св. Михаила в моей жизни не было ничего более отрадного, чем приезд Фердинанда. Если целую половину года живешь между глупцами и негодяями, то это истинное счастье—встретиться с кем-нибудь, кто понимает тебя.

Вечером, по возвращении домой, я имел длинный разговор с Гандером. Он заклинал меня Богом быть осторожнее. Он был настолько честен, что сказал мне:

— Смотрите, Лассаль, вы уже потому на плохом счету у старика, что живете у меня, и, заметьте, это главная при-

чина. Мне очень жаль, но что же мне делать? Защищать вас перед Шибе я не могу; я не могу бороться с ним.

— Почему? Ведь, у вас нет оснований его бояться.

На это Гандер дал мне такой, к сожалению, справедливый ответ:

Нет, я не боюсь Шибе, но в борьбе с ним я наверное проиграю,—только потому, что я борюсь честными средствами, а он—нет.

Я попросил Гандера рассказать на пасхе обо всем этом отцу, который наверное не поверил бы мне самому. Он обещал это, и я отправился спать.

Боже, сколько горькой истины в словах Гандера! Он — независимый, свободный, уважаемый человек — боится Шибе. Как же должен бояться его—я, его подчиненный!

Но Бог знает, как это происходит; только я ни капли не боюсь его.

Среда, 10 Марта.

Я полетел к моему кузену. Проболтавши несколько часов самым приятным образом и поделившись друг с другом своими планами, мы с ним вышли.

Непонятен мне этот Фердинанд. У меня явилась хорошая мысль сравнить его с Сентгальским кавалером. Как Казанов, после той блестящей роли, которую он играл при всех европейских дворах, удалился, чтобы стать жалким библиотекарем в замке графа Вальдштейна, и переносил преследование глупцов, которые его не могли понять, так и mon cousin оставил Париж, почести, чины, Берлиоза, Гейне, Салоса и, Бог знает, что еще,—для того, чтобы в нашем скучном Бреславле продавать коленкор польским евреям.

Мы пошли к Брейткопфу и Гертелю, а потом я проводил кузена до коммерческой школы. Он пошел наверх, а я остался ждать внизу. Шибе, как я предупреждал Фердинанда, был настроен против меня. Когда же Фердинанд попросил его извинить меня за мое отсутствие, и объяснил, что это произошло по его вине, то Шибе, считавший меня больным, сильно разозлился и не принял просьбы Фердинанда.

Четверг, 11 Марта

Сегодня—рождение директора. Я поздравил его и отправился в школу. Я пошел к Шибе с извинительной запиской от Фердинанда. Едва только Шибе увидел меня, он страшно разозлился и сказал, что ему нет дела ни до записки, ни до кузена, что я нарушил регламент и потому должен в 9 часов явиться в педагогический совет. Это было уже слишком. Вот что значит — довести ненависть и педантизм до крайней степени.

Я отправился в класс. Все ученики поспешили ко мне, но я уединился с Беккером и рассказал ему всю историю. Он советовал мне сохранять стоическое спокойствие, что бы там ни случилось.

В девять часов меня позвали вниз. Я вошел. Посредине сидел директор, около него полукругом—все учителя. Я стоял у двери со сложенными руками и опущенными в землю глазами.

В течение всего заседания я старался не обнаружить ни одним движением тех чувств, которые попеременно бушевали во мне. Ненависть, презрение, стыд, злоба, скорбь, ярость, равнодушие—сменялись поочередно, но я ничего не обнаружил, что во мне происходило, и с страшным усилием придал своему лицу спокойствие, которое так плохо шло к моему положению. Вошедший случайно не мог бы заподозрить, что я стою перед судом.

Ближе! раздался голос.

Я сделал шаг вперед и сохранил прежнее положение, не удостоив собрание ни одним взглядом. Директор изложил мое, так называемое, преступление и объяснил, что он совершенно не принимает во внимание моего кузена. Тогда началась комедия, в полном смысле слова, достойная того, чтобы посмотреть на нее. Шибе, Ширгольц и—что еще более злило меня—Феллер, ораторствовали. Остальные молчали, эти же трое беспрерывно сменяли один другого. Несмотря на безграничное презрение, которое я к ним чувствовал, я был страшно уныл.

Мне приходило на мысль, что я—мертвый орел и лежу в поле. Вот прилетели вороны и вороватые сороки и другие

презренные птицы: они выклевывают мне глаза и терзают мое тело когтями. Но вдруг я почувствовал возможность двигаться, жизнь возвратилась ко мне, и я с шумом поднял свои крылья. С карканьем улетели вороны и сороки, а я поднялся к солнцу.

От этого сновидения меня разбудил бас старика. Боже, о чем они только не рассуждали! Они перемывали все мои косточки. Они называли меня лицемером, лживым, дурным, корыстным, безрассудным, коварным, сумасшедшим и взбалмошным

Когда этим добрым людям нечего уж было говорить о моих успехах, и совершенное мною преступление было уже исчерпано,—они перешли к моему характеру.

— Милостивые государи!—начал Феллер,—это олицетворенное притворство. Господа, вы должны знать, что Лассаль смотрит на все с точки зрения философа. Мы—не начальники ему. Он не признает самого понятия о начальстве Мы его подданные, так как мы получаем плату. Вообще, Лассаль не знает ни любви, ни почтения, ни благодарности. Все, что исходит от сердца,—ему чуждо, как и само сердце. он ни к кому не чувствует любви. Его основкой принцип — лицемерно выказывать любовь, пока ему кто-нибудь нужен.

— Хороший принцип, — усмехнулся старик.

— При этом, — продолжал Шибе, — он умеет придать себе вид...

— Вид! — повторил Ширгольц.

— Вид! — прозвучало из уст Феллера, как эхо на Адерском озере.

— Ты лучше всего сделал бы, — сказал старик, — если бы стал комедиантом: ты мог бы сегодня играть Шейлока, завтра еще какую-нибудь подобную роль, потому что ты способен на всякое злодейство.

И все продолжалось в том же духе.

Затем меня попросили удалиться.

Когда я вошел снова, директор прочел мой приговор. Меня приговорили к трем неделям домашнего ареста, а если я еще раз позволю себе нарушить правила, то об этом доведут до сведения высшего начальства.

Когда я возвратился домой. Гандер получил уже письмо от Шибе. который сообщал ему о моем домашнем аресте и просил известить его. если я выйду. «Тогда правосудие явится во-время». прибавлял Шибе

Это письмо очень испугало Гандера. Он показал его моему кузену и сказал ему. что Шибе может исключить меня.

Власть Шибе велика. но. к счастью. ему это не так-то легко сделать. Мои успехи безупречны. и в своем поведении я постараюсь быть осторожным.

Не скажу, чтобы с этих пор я хотел вести себя хорошо. потому что я никогда не вел себя дурно,—говоря короче. я никак не хочу вести себя. До сих пор я надеялся выйти из школы на пасху. а теперь твердо решил пройти весь курс

Я не боюсь Шибе.

Пятница, 12 Марта

Сегодня—день покаяния и первый день моего ареста. Вильгельм Мёвес и Цандер навестили меня и пробовали меня утешать К счастью. я не нуждаюсь в утешении. Я могу легко пренебречь наказанием. К мнению Шибе. Ширгольца и т. п. я отношусь еще равнодушнее.

В словах великого поэта. который был сослан в Малую Азию:

Hic sum barbarus, quia non intelligor illis! [1]) я нахожу себе утешение.

Одно только сокрушает меня. угнетает и приводит в уныние. это—мысль. что я доставляю отцу немного радостей: и даже сознание моей невиновности едва поддерживает меня. Бог мне свидетель. что я не мог поступать иначе. Я сделал все, что мог. но ничего не вышло. Шибе и я. мы сошлись на одном только чувстве,—на взаимной ненависти.

Быть может. я мог бы из любви к родителям подавить чувство собственного достоинства и унижаться перед стариком. Но это не помогло бы: он видел бы в этом спрятан-

---

[1]) Меня считают здесь варваром, потому что не понимают меня

ные в лапах когти. И мы уже столкнулись бы, если бы меня не удерживала мысль об отце! Однако, довольно об этом.

Воскресенье. 14 Марта.

Сегодня, на 3-й день моего домашнего ареста, меня навестили Мёвес, Натансон и Вильгельм. Мы играли в вист и болтали.

Непостижима человеческая натура! До сих пор я думал, что знаю подлость Шибе вдоль и поперек, думал, что по отношению ко мне он дошел уже до крайних пределов, но сегодня я узнал о нем вещи, которых не ожидал от него. История, переданная нам Н. о том, что он раньше перечиспытал в школе, была, действительно, ужасна. Впечатление, произведенное на нас его рассказом, соответствовало характеру каждого из нас. Я сжал кулаки, скрежетал зубами и внутренне дал себе клятву страшной мести. Вильгельм остался спокоен, ни одного слова не сорвалось с его уст, только на глазах блестели слезы и порой судорожно сжимались губы. Я легко мог представить, что происходило в нем. Только Мёвес не вышел из своего спокойствия, оставаясь, по обыкновению, холодным, безучастным.

Бедный Иосиф! Ты так много страдал, и уже за это одно я люблю тебя. Ты так много перенес из любви к родителям! Моя любовь к отцу, как ни велика она, едва ли вынесла бы такое испытание.

Среда, 17 Марта.

Я получил письмо от моих дорогих родителей. Фердинанд также написал мне, что его опасения оказались неосновательными, и мои предсказания оправдались.

Четверг, 18 Марта.

Сегодня—я был в концерте, в цейх-гаузе. Пела Дезриеп.

Воскресенье, 21 Марта.

Сегодня—последний день моего домашнего ареста.

Понедельник 22 Марта.

Сегодня Гейшкель возвратил нам немецкие сочинения.

Беккер на вопрос: «Как благодарить Бога за лучшее из дарованных благ?»—отвечал: «не бесплодными причитаниями, а делами»...

Эта совершенно справедливая мысль задела ортодоксального Гейшкеля.

Сочинение Беккера писал я, и моя обязанность была защитить его.

Я вступил в спор и доказал, что делать добро и поступать благородно—лучшая благодарность, чем коленопреклонение и пение. Гейшкель был побит и принял свойственный мелким душонкам план действия: он молчал и обдумывал месть.

И она не замедлила обнаружиться.

После обеда, во время урока географии доктора Ниппвица, внезапно отворилась дверь и вошел старик.

В это мгновение у меня явилась уверенность, что он пришел ради меня, инспирированный Гейшкелем; она превратилась в факт, когда за Шибе ввалилась дородная фигура Гейшкеля. Я имел достаточно оснований быть серьезным; но я не мог удержаться от смеха, присмотревшись ближе к несчастной фигуре Г. Он был бледен, как смерть; его жирный живот раскачивался из стороны в сторону. Он избегал смотреть на меня и держался за спиной Шибе. На его лице был написан такой страх, что даже Мельпомена, эта серьезная богиня, рассмеялась бы при взгляде на него.

Старик изложил мое преступление: я осмелился утверждать, что осушать слезы бедным, делать добро и поступать благородно — лучше, чем читать длинные молитвы, бормотать псалмы и при этом закрывать мольбам ближних доступ к своему сердцу. Его глаза и глаза благородного Ниппвитца загорелись благородным негодованием. Гейшкель стоял, дрожа всем телом и не смотрел на меня, из

боязни встретиться с моим взглядом. Он был мне жалок, бедняга.

Между тем, старик перешел от этого частного случая к моему безбожию вообще.

— Чтобы дать вам понятие о его образе мыслей, — сказал он между прочим, — я передам вам выражение, употребленное им в разговоре с г. Гандером; он сказал: «Я могу ценить и уважать только того человека, который пригоден для моих целей».

Святой Аполлон! Это было слишком! Что думает обо мне старик, мне совершенно безразлично, но мне не все равно, когда мне приписывают выражения, которых я не употреблял и которые глупы и скверны в высшей степени.

— Директор Гандер не мог этого говорить; когда он сказал это? — возразил я.

— Об этом мне передал доктор Феллер, — ответил старик.

Мне все стало ясно. Гандер мог по своей простоте и глупости или в припадке болтливости переврать что-нибудь Феллеру, а последний передал это в извращенном и исковерканном виде своему господину и учителю.

О, этот Гандер! Он по своей простоте больше мне навредил, чем другие своей ненавистью. Прав Гейне, говоря:

Sie haben mich gequälet,
Geärgert blau und blass,
Die Einen mit ihrer Liebe,
Die Andern mit ihrem Hass [1].

Я потребую у Гандера отчета, чтобы знать, как мне оправдаться.

Старик, выходя, произнес следующую удивительно смешную фразу:

— Знай: если ты еще раз так подумаешь, ты предстанешь перед начальством.

---

[1] Они меня очень терзали,
И бледный я стал и худой:
Одни—своей глупой любовью,
Другие—своею враждой.

(Пер. А. Н. Плещеева).

Эти слова так смешны, что я готов считать их великими, делая перестановку в известной фразе Наполеона: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»[1].

Вечером у меня был Цандер и передал мне очень важную новость.

Около 5 часов вечера он, по обыкновению, гулял с Феллером, и тот, совершенно не подозревая в Цандере моего друга и считая его своим доверенным, спросил его, что произошло между мною и директором. Цандер рассказал ему все, также и о фразе, переданной Шибе Феллером.

— Мне это очень, очень неприятно,—сказал Феллер.

Естественно, что разговор все время вертелся на мне.

— Видите ли, Цандер,—сказал Феллер,—вы не знаете Лассаля. Это очень опасная голова! И директор, и мы, учителя, твердо решили, под каким бы то ни было предлогом, удалить Лассаля из школы, если он сам не уйдет. Он в высшей степени опасен. Он имеет уже приверженцев.

— Позвольте,—возразил Цандер,—я знаю, что Лассаль дружит только с Беккером.

— О, вы не понимаете этого! —возразил Феллер.— Беккер слишком неподвижен, и Лассаль был бы ему только в тягость. Но у него есть уже приверженцы. Словом, для нас он очень опасен.

Это сообщение Цандера вызвало у меня самые разнообразные ощущения. Так далеко мое тщеславие еще не заходило. Как ни велика была моя самоуверенность, но я никогда не думал, что всемогущий Шибе боится меня, глупого юноши. Ха, ха, ха! Я помирал со смеху. Как тут не стать тщеславным? Мало того, что я его никогда не боялся; нет, я еще для него опасен. Он боится меня—и так сильно; он дошел даже до того, что признался в этом Феллеру и вошел с учителями в соглашение—при первой возможности удалить меня.

Это навело меня на серьезные размышления, и я решил остаться в школе. Но будет ли это возможно, если они решили воспользоваться каким бы то ни было поводом? До сих пор я думал, что Шибе только ненавидит меня. Мне,

---

[1]) От великого до смешного—один шаг.

может быть, удалось бы укротить или, по крайней мере, сделать безвредной его ненависть. Но страх? Страх — никогда.

Я должен был обещать Цандеру, что никому, кроме Беккера, не передам его сообщения. Он, в свою очередь, дал мне слово рассказать моему отцу всю эту историю.

Вторник, 23 Марта.

Сегодня я сообщил Цандеру слова Шибе.

Он сказал, что это неправда. Тогда я потребовал, чтобы он повторил это в присутствии Шибе.

Я поступил очень удачно. Он стал вывертываться, хотел превратить все в шутку и старался убедить меня, что все это пустяки.

Но, во-первых, это не пустяки, а, во-вторых, ему менее всего прилично было считать это пустяками, так как он сам постоянно раздувает всякую безделицу. Прекрасная защита, которую я только и мог ожидать! Ум помрачается, когда я заглядываю в будущее. Но пусть время идет, неизбежное, как смерть. Заранее подумать об этом ужасно. Если оно придет, если это неизбежно,— станем поступать, как умеем.

Среда, 24 Марта.

Читаю произведения Лаубе. Удивительно, сколько в человеке предрассудков, и как они неосновательны! Не прочтя ни одного произведения Лаубе, я питал к нему предубеждение, мне думается, благодаря мнению одного писателя, которого я уважаю. Теперь же некоторые выражения Гейне побудили меня приняться за чтение Лаубе. Боже, как я был несправедлив! Он принадлежит к лучшим людям Германии. Побольше бы таких! Он боготворит свободу со всем жаром своей души. Его желания—лучшие желания, и его сила могущественна.

Убедительность Берне он соединяет с иронией Гейне. И хоть его нельзя сравнить ни с тем, ни с другим, но он все же превосходит первого художественным чутьем, а

второго—волей или, по крайней мере, ясностью воли. Как великолепны его «Политические письма», его «Поляки» и его «Поэты». Особенно—последние. Как прекрасно вылилась в его трех интересных фигурах вся полнота благородства, гениальность, художественное чутье и любовь, горячая любовь к свободе. Как прелестно обрисовал он свои женские типы! Как гениальна эта княгиня, как божественна отдающаяся Дездемона! Как божественна его Камилла!

Суббота, 27 Марта.

Сегодня давали «Эгмонта» [1]). Нужно удивляться, как этот вечно улыбающийся Гете мог написать произведение, в котором говорится так много о свободе и управлении.

Девриен играл хорошо, хотя его роль не из легких. Персонажи Гете, это—взятые из живой действительности типы: они гораздо труднее для исполнения, чем идеальные герои Шиллера.

Понедельник, 29 Марта.

Сегодня я и Буко решили брать уроки фехтования. Это было смело, и мы не скрывали от себя, что если старик узнает, то воспользуется этим, чтобы удалить нас из школы. Но это нас не остановило. Ничего дурного тут нет, если я буду держать это в тайне. Во-первых, уроки фехтования—очень полезное упражнение, а во-второвых, ведь не известно, не придется ли в будущем воспользоваться своими успехами в фехтовании.

Вторник, 30, и среда, 31 Марта.

У нас экзамен и отпуск.

Четверг, 1 Апреля.

Я ходил к старику, чтобы взять у него свидетельство и проститься. Он смотрел на меня дружелюбно, и я воспол-

---

[1]) Драма Гете.

зовался этим случаем и обещая ему исправиться и т. п. Мы расстались, как лучшие друзья и мне думается, что при некоторой сдержанности, мне, может быть, удастся закрепить эти дружественные отношения.

Каникулы проходят монотонно. Утром фехтовальный зал; после обеда обычная прогулка.

Понедельник 5 Апреля.

Сегодня первый день праздника Пасхи (Pesach-Feiertag[1])

По желанию родителей я отправился в еврейский ресторан Маркуса, чтобы отпраздновать этот день поминовения. Вечером я слушал там «Zeider», и мою душу охватили воспоминания о лучших пережитых мною днях. Я видел всех нас, сидящих за длинным праздничным столом, и на первом месте—моего дорогого отца, который пел прекрасным, звучным голосом. Рядом с ним, милая, набожная мать серьезно следила за тем, строго ли исполняются все церемонии, свидетельницей которых она была еще ребенком в доме своего покойного отца. Ниже Рикхен с смеющимися розовыми щеками неподтишка подсмеивалась над непонятными для нее обычаями, усердно стараясь выпросить горький Moraur[2]). Затем—Лакс, Шпитцер, Орглер; все держат перед собой по большой книге, чтобы скрыть смех, вызванный только-что сказанной остротой. На них останавливается гневный взгляд зорко следящей за всем матери, и их лица снова становятся серьезными и набожными...

---

[1]) Pesach-или Pessachfest посвящен воспоминанию об избавлении первенцев от ангела смерти и о выходе из Египта. Накануне праздника глава семьи собирает всех за общую вечернюю трапезу. Ритуальный порядок за трапезой — молитвы и порядок кушаний, — называется «Sseider» (Лассаль пишет Zeider), что значит буквально «порядок». Молитвы собраны в книге «Хагада». Это — собрание исторических и мифологических преданий о рабстве израильтян в Египте и о выходе из Египта.

[2]) Moraur'ом называется горькая трава. Это—необходимая составная часть вечерней трапезы, как и пресный хлеб (маца), и пасхальный агнец—Pesach. Последний должен напоминать о том, что дверные косяки, отмеченные кровью, служили ангелу смерти знаком, что здесь он должен пройти мимо. Горькая трава символизирует постигшие евреев в Египте бедствия, опресноки — «хлеб скорби», незаквашенный и невыпеченный хлеб, так как притеснители не давали евреям времени для изготовления настоящего хлеба.

Между прочим, у Маркуса я приобрел очень интересное знакомство. Я познакомился с известным доктором Майером, весьма остроумным человеком.

Мы вышли вместе прогуляться и между нами завязался серьезный разговор. Я ощущал в этом потребность, которой я, к сожалению, так долго не мог удовлетворить, так как моим здешним друзьям совершенно недоступны духовные наслаждения. Он познакомил меня с одним молодым писателем Вольфсоном, очень богатым поэтическим воображением. Он пишет под псевдонимом «Карл Майен» и уже дал несколько выдающихся произведений.

О, как хорошо я чувствовал себя с ними! Меня понимали, не отталкивали; мои благородные чувства не наталкивались на иссохший ум. Майен перенес подобное же недоброжелательство; он понял и утешал меня. Оба говорили мне, что я не гожусь в купцы, что мне давно уже подсказывал мой собственный голос. То, о чем я мечтал, что переживал только внутренно, стало действительностью в устах этих людей. Во мне все тверже становится желание учиться, посвятить более благородной цели свой ум, свои силы, стремления и, если нужно, пожертвовать собой.

Я все еще стою на распутьи; но я не потерял возможности вернуться. Горе, горе мне, если меня постоянно будет мучить сознание, что жизнь испорчена! горе мне, если мной овладеет слишком позднее, но тем более горькое раскаяние, язвя меня, как жало скорпиона; если громко прозвучит голос: Бог одарил тебя благородными силами для благородных целей, а ты сгноил их! Боже, Боже! скажи: что мне делать? Мне не тяжело отказаться от занятий купца. О, напротив, я с радостью брошу это. Здесь ничто не радует меня! Но мой отец!..

---

11 апреля—день моего рождения. Отец, мать и моя дорогая сестра написали мне письма, полные беспредельной любви. Рикхен прислала мне кольцо со своим локоном. Я расцеловал этот локон. Отец писал так серьезно, а мать так трогательно. Боже! сделай счастливыми дорогих моему сердцу.

Что бы со мной ни случилось, какова бы ни была моя судьба, пусть они будут счастливы. Они заслужили это.

Я не могу больше писать. Никогда еще мне не было так тоскливо. О, любовь, любовь! Что ты делаешь? Чего не могла сделать в течение целого года ненависть,—то сделала ты одним словом! Ты заставила меня плакать, как ребенка!

Мой кузен Ульман был здесь. Он едет в Карлсбад.

Я научился ценить Карла Майела, как поэта. В его «Фиалке» есть превосходные стихи, хотя сила и воля в них не совсем еще ясны. Они дышат силой и пламенным вдохновением. В лирике он, сам того не желая, принадлежит к школе Гейне, хотя не вполне. Его «Звездные картины» содержат по-истине замечательные стихотворения, например: «Долг и любовь», «Елизавета», «Жан Поль» и особенно «Мое сердце». Карл Майен преследует прекрасную, благородную цель—он борется за евреев. В поэзии он то же, что Габриэль Риссер в прозе. С этою целью он издал карманную книжку «Jeschurun», в которой особенно отличаются: «Богемский сельский еврей» живым реалистическим изображением и «Письма»—своей правдивостью.

Прошло продолжительное, важное по своему значению, время.

Мой отец был здесь. Я ему сообщил о своем желании и непоколебимом намерении учиться. Сначала он был изумлен, потом сказал, что ему нужно время, чтобы подумать. Я зашел очень далеко и сказал, что этого совсем не нужно, нужно только его согласие, так как я никогда не откажусь от своего намерения. Конечно, это было слишком—отказывать отцу в выборе. Но я, при этом не испытывал ни малейшей внутренней борьбы.

Отец сказал мне следующее: он надеялся, что я сниму с его плеч тяжесть, которая начинает так сильно давить его. Он устал от борьбы. Он так хотел бы провести свои дни в покое. А теперь, если я буду упорствовать в своем решении, он снова должен работать, чтобы содержать Рикхен и Фердинанда

Боже, что перенес я при этом! Но я не мог иначе: я объяснил ему, хотя при этом сердце у меня болело, что я должен следовать своей склонности, своему призванию.

Отец почти готов был подумать, что я бессердечен.

Он спросил меня, чем я хочу заниматься.

— Великим, всеобщим изучением мира, которое тесно связано с самыми святыми интересами человечества — изучением истории,—ответил я.

Отец спросил меня, чем я буду жить, так как в Пруссии я не получу кафедры, а с родителями я не хотел бы расставаться. О, мой Бог, если бы только я мог избежать разлуки с ними! Я ответил, что всегда сумею устроиться.

Он спрашивал меня, почему я не хочу заняться медициной или юриспруденцией.

— И врач, и адвокат,—ответил я,—купцы, торгующие своими знаниями. Часто то же бывает и с учеными. Это я вижу на примере Гандера, который в буквальном смысле— купец.

А я хотел учиться ради самого дела, ради деятельности.

Отец спросил, не думаю ли я сделаться поэтом.

— Нет,—ответил я,—я хочу посвятить себя публицистической деятельности. Теперь,—время борьбы за святое назначение человечества. До конца прошлого столетия мир находился в оковах темного суеверия. Материальная сила, руководимая гением ума, разрушила эти оковы. Первое ее проявление было ужасно и должно было быть таковым. С тех пор ведется непрерывная борьба. Это борьба не грубой физической силы, но силы разума. В каждой стране, в каждой нации появляются люди, которые борются силой слова, побеждают или падают побежденными. Это—борьба за благороднейшие цели и ведется она благородно. Нам не нужно возбуждать народы: нужно только просветить, облагородить их

Отец долго молчал. Потом он заговорил:

— Сын мой, я не отрицаю истины твоих слов, но зачем же ты хочешь быть мучеником? Ты—наша единственная надежда, наша опора. Свобода должна быть завоевана и будет завоевана без тебя. Останься с нами. Сделай нас счастливыми и не бросайся в эту борьбу. Если даже ты побе-

дини, мы погибнем. Мы живем только для тебя. Отплати нам. Ты один, ты ничего не изменишь. Пусть борются те, которым нечего терять, от судьбы которых не зависит счастье их родителей.

Почему же я должен быть мучеником?

Почему? Потому что божественный голос во мне призывает меня на борьбу; потому что Бог дал мне силы, которые—я чувствую это—делают меня способным к борьбе; потому что я могу бороться и страдать за благородную цель; потому что я не хочу обманывать Бога, который дал мне силы для определенной цели,— словом, потому, что я не могу иначе.

Отец, наконец, сказал мне, что это должно решиться к Михайлову дню, а до того времени я должен подумать; он также подумает. Мы все же не совсем поняли друг друга. Он запрещает мне не специальные занятия, а мои мнения. Поэтому я сказал ему, что он не понимает меня. Он позволяет мне учиться, но не признает святой, облагораживающей идеи, которую он называет либерализмом. Как-будто это не то, что побуждает меня учиться, за что я хочу бороться и без чего я охотнее остался бы тем, что я представляю собою теперь [1]).

---

[1]) Часто упоминаемый соученик и друг юности Лассаля Роберт Цандер так описывает, в «Юношеских воспоминаниях о Лассале», его отъезд из Лейпцига: «Когда он уезжал из Лейпцига, наше прощание было братски сердечное; с преувеличенной юношеской горячностью мы клялись оставаться всю жизнь прежними, делиться горем и радостями. Мы обошли в последний раз все излюбленные местечки, где мы в часы отдыха веселились или были заняты серьезными разговорами, особенно мирную глубину сада Бозе, где стоял старый театр типографщиков, и пруд Шахмельштейн с его островом Buen Retiro, на озерной стороне Лейпцига, где наши прогулки в лодке были отмечены общим несчастьем».

ОГЛАВЛЕНИЕ.